

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 15

1990



*Людмила УВАРОВА*

**ОДИНОКИЙ С СОБАКОЙ  
СНИМЕТ КОМНАТУ**

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 15

Издается с января 1925 года

Людмила УВАРОВА

# ОДИНОКИЙ С СОБАКОЙ СНИМЕТ КОМНАТУ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1990

## Людмила УВАРОВА

*В последнее время рассказы и повести Людмилы Уваровой охотно переводятся за рубежом. Недавно вышла в США «Антология женской прозы — произведения советских женщин-писательниц», в которую также вошли рассказы Уваровой. В Китае издана книга ее повестей и в отдельных журналах опубликованы рассказы.*

*Людмила Захаровна Уварова родилась в Москве. Одно время преподавала немецкий язык в Военной академии имени Фрунзе, в спецшколе номер два, потом перешла на стезю журналистики. С 1947 года стала профессиональным литератором, в 1960 году ее приняли в Союз писателей. Она автор сорока пяти книг романов, повестей и рассказов. Некоторые ее рассказы экранизированы и передавались по радио и по телевидению, а также были использованы как сценарии на Мосфильме.*

## Артистка

Она живет в Калашном переулке, в четырехэтажном, старинной кладки доме.

У нее крохотная однокомнатная квартирка, миниатюрная, словно обитель Дюймовочки. Мебели в комнате очень мало, а на кухне и того меньше: плита, полка над плитой, маленький столик и еще холодильник «Морозко». Зато и в комнате, и на кухне все стены в портретах. Кое-где висят старые, пожелтевшие от времени афиши, на них чуть ли не в полметра величиной фамилии прославленных некогда киноактеров, которые теперь уже никто не помнит; среди фамилий второстепенных участников фильма и ее фамилия, мелким шрифтом.

Почти на всех фотографиях — она, хозяйка квартиры, в различных позах и костюмах.

Фотографии, надо отдать должное, повешены обдуманно, последовательно, по годам, начиная с коротко, под мальчика стриженной комсомолки в полосатой майке, кончая опереточной дивой в кружевном пышном туалете, украшенном лентами и бантами.

Комсомолка в полосатой майке — ее первая роль. Впрочем, роль — слишком громко сказано. Просто в одном, не очень, по правде говоря, хорошем фильме комсомолка в полосатой майке идет впереди колонны физкультурников. Вот и вся ее роль. А опереточная дива с огромным веером, вся в лентах — это уже в более позднем фильме.

Если взглянуть в портреты, видно, как медленно, неотвратно исчезают мягкие линии, уступая место более твердо очерченному облику.

Морщинки, упрямо не поддающиеся гриму, едва заметная складочка возле губ, усталые веки над усталыми глазами...

Еще на стене висят фотографии знаменитых во время оно киноартистов и кинорежиссеров. На иных портретах размашистые подписи — все они чуть ли не в одинаковых выражениях желают хозяйке счастья, творческих успехов, исполнения всех и всяческих мечтаний.

Сама она невысокая, очень худенькая, как бы слегка подсохшая за долгие годы своей жизни.

Но, несмотря ни на что, продолжает постоянно следить за собой, методично выполнять весь многолетне испытанный ритуал: встает все-

гда в одно и то же время, в восемь утра, полчаса гимнастики, потом горячий душ, потом час у зеркала — массаж лица, протирание кожи лосьоном и косметическим молочком, подмазка и подкраска; потом тщательно одевается, костюм у нее почти всегда одинаков: зимой голубой, самодельной вязки свитер и брюки, летом легкое платье с неизменным воланом, закрывающим морщинистую, дряблую шею. И ряд бус, которые она носит давно, кажется, с ранней юности, красные, голубые, зеленые шарики, на костлявых запястьях широкие азиатские браслеты, усыпанные бирюзой и лазуритом, память о давней поездке в Казахстан.

Она никогда не ходит распустехой, непричесанной, в халате; она и вообще-то не признает никаких халатов, капотов, пижам.

К ней можно зайти в любое время дня, и она всегда одета, подтянута, умело подкрашена, хотя и живет совершенно одна. Сказывается многолетняя тренировка, умение держать себя в форме. Она много и жадно курит, небрежно, по-мужски держа сигарету длинными, худыми, в дешевых перстнях пальцами, нечасто затягивается, пуская медленно колечки изо рта.

Чашка кофе и две сигареты — ее утренний завтрак, случается, что та же чашка кофе и несколько сигарет составляют и обед ее, потому что подчас неохота выйти в магазин за продуктами или какое-либо нездоровье одолевает и не хочется готовить на себя одну, хорошо поэтому, если есть под рукой кофе, неизменная, как она выражается, палочка-выручалочка.

Живет она довольно замкнуто, у нее немного друзей-приятелей — две-три соседки по дому, старый актер, ныне уже на пенсии, вдова знакомого оператора. Вот, пожалуй, и все.

Соседки зовут ее не по имени-отчеству, а просто «артистка»:

— Артистка звонила, спрашивает, не зайдем ли к ней?

— Нынче артистка обещала зайти...

— Надо бы навестить артистку, как она там...

Иногда в Кинотеатре повторного фильма демонстрируются старые картины, насчитывающие полвека, а порой и больше со дня проката.

Об этом дне артистка узнает заблаговременно и начинает тщательно готовиться к нему, словно к празднику: кладет хну на реденеющие волосы, старательно сурьмит ресницы, обводит красным рельефным карандашом губы и мажет их светло-коричневой помадой, чтобы казались более четкими.

Потом звонит немногим своим друзьям и соседям, сообщая каждому, что нынче в Кинотеатре повторного фильма демонстрируется лента. Да, да, та самая...

И оживленно продолжает:

— Пойдемте, поверьте, не пожалеете. Я в ней снималась когда-то, когда была совсем молодая. Любопытно все-таки теперь посмотреть, как это все выглядело...

Порой кто-либо выбирается вместе с нею в кинотеатр, но чаще всего она идет одна. Впрочем, ей нравится ходить одной, тогда, считает она, впечатления глубже, эмоции сильнее, можно беспрепятственно смотреть, думать, вспоминать и сравнивать...

Кассирши, билетерши, уборщицы, даже толстая, вальяжная буфетчица хорошо знают ее. И билет для нее оставляют постоянно в одном и том же пятнадцатом ряду, в середине.

— Что, явились поглядеть на себя? — спрашивает кассирша.

— А как же, — отвечает она. — Как же иначе? Надо же когда-нибудь хотя бы изредка встретиться со своей молодостью...

И улыбается при этом, чтобы улыбкой как-то притушить откровенную выпренность своих слов.

— Я в прошлом году видела эту картину, — сообщает кассирша. — И вас, само собой, видела. Очень хорошо играете...

Артистка благодарно кивает ей, а кассирша провожает ее взглядом и думает о том, как падки все, кого ни возьми, на доброе слово, решительно все. И верят тому, что им говорят. И еще она думает о том, как беспощадно расправляется время с нами, людьми...

Обычно артистка приходит на первый, утренний сеанс. Утром народу еще очень мало: две-три домашние хозяйки, забежавшие сюда по дороге домой отдохнуть после привычного рейса по магазинам, несколько школьников, счастливо улизнувших с письменной по математике или русскому языку, пенсионеры, только-только вышедшие на пенсию, не знающие, куда девать уйму времени, которое внезапно обрушилось на них. И непременно где-нибудь в заднем ряду ютятся влюбленная парочка, ищущая в темноте уединения и не обращающая ровно никакого внимания на экран. Влюбленным ни до чего и ни до кого нет дела, они никого не видят, ничего не замечают, кроме друг друга.

И она, в пятнадцатом ряду, тоже никого не видит. Глаза ее устремлены на полотно экрана, и все помыслы и чувствования устремлены тоже только туда.

Мелькают давно снятые, успевшие основательно поблекнуть кадры старой мелодрамы или такой же древней комедии.

Победной улыбкой сияет лицо героя, некогда кумира всех кинозрительниц, как молодых, так и самого преклонного возраста, мчится на лошади героиня с развевающимися светлыми волосами за спиной, поучительно разглагольствует о превратностях любви старый резонер с добродушным очерком толстогубого рта; но все они как бы прелюдия к самому главному для артистки — к встрече с собой. И вот она сама на экране, тоненькая, словно ветка орешника, появляется и снова исчезает, и опять ее лицо показано уже крупным планом: широко раскрытые глаза, обдуманно небрежно упавшая на лоб челка, пухлый, пожалуй, чересчур большой рот...

И артистка глядит, наглядеться не может на себя, на ту, уже далекую, почти незнакомую, решительно не похожую на нее теперешнюю.

О, как неповторимо угловато все ее хрупкое, небольшое тело! Как неловко взмахивают палочки-руки и смешно косолапят длинные, с плоскими девчоночьими ступнями ноги, и походка у нее, что называется, несделанная, слегка подпрыгивающая, и щеки немного впалые, и, когда она улыбается, видно, что у нее неровные, совсем не «голливудовские» зубы, но как же все это по-настоящему свежо, молодо, неподдельно — и смешная походка, и неуклюже шагающие ноги, и впалые щеки, и далеко не кинематографическая улыбка, открывающая зубы, которые как бы налезают один на другой...

Нет, она не была звездой, примой, никогда не сыграла ни одной мало-мальски заметной роли. Самое значительное, что ей поручали, — эпизод, иногда два эпизода.

Имя ее нечасто появлялось в списке действующих в фильме лиц. Большею частью его заключали в себя два слова: «И др.»

Но ее знали в кинематографических кругах. И предлагали сниматься то в одном фильме, то в другом. Она никогда не отказывалась. И все ждала, ждала, когда же объявится он, его величество господин Случай, которого ждут многие участники массовок, с жадностью впитывающие в себя бродачие на киностудии легенды о блистательной карьере, настигшей скромного, безвестного статиста, отродясь не помышлявшего о ней и вдруг проснувшегося знаменитым, потому ли, что именно на него внезапно упал взгляд режиссера, потому ли, что довелось заменить заболевшего героя, или еще почему-либо.

Но, как бы там ни было, она уже не представляет себе жизни без киносьемок, без юпитеров, то разом вспыхивающих, то мгновенно гаснущих, без суеты, суетолоки, шума, царящих в любом павильоне любой киностудии.

А случай все не являлся. Шли дни, месяцы, годы, она продолжала сниматься в драмах, инсценировках, театральных спектаклях, боевиках, трагикомедиях, просто в комедиях, снималась, пока не «ушло лицо», пока еще хватало сил вставать на рассвете, мчаться на студию, день-деньской проводить на съемке, порой под проливным дождем, или в палящую жару, или в зимний пронизывающий холод, почти без еды, без отдыха, и потом поздно вечером, а то и ночью возвращаться домой, выпитой, казалось бы, до дна, догоняя последний поезд метро или лоя последний троллейбус.

И все это ради той единственной минуты, когда на экране появится она, то колхозница, то почтальон, то рыбачка, то укротительница диких зверей, то спортсменка на стадионе, то работница ткацкой фабрики, то светская дама, то танцовщица варьете, то продавщица магазина, то партизанка, то связная, то телефонистка на фронте, то медсестра полевого госпиталя, то проводник поезда...

Вот она живет в течение шестидесяти секунд на экране, шурит глаза, обмахивается веером, выстукивает на аппарате азбуку Морзе, подает раненому солдату лекарство, бежит по заснеженному лесу, сгребает гра-



блями сено в поле, обходит ряд станков в цеху ткацкой фабрики, дразнит издали тигра на арене цирка, переползает через колючую проволоку на ничейную сторону, чтобы первой передать боевое донесение, морщит губы в улыбке, откидывает назад непослушную прядь, поднимает руку, приветствуя кого-то на стадионе, стоит на площадке вагона с маленьким флажком в руке...

Потом исчезает. И нет ее, как не было.

В старой ленте, которую демонстрируют сейчас, артистка исполняет роль подруги героини, молодой работницы текстильного предприятия.

Она появляется всего лишь один раз, на пикнике, который организован текстильным предприятием. Молодые производственники расположились на пляже, среди них и она, одетая в смешно выглядящий по нынешним временам купальник с целомудренным вырезом на груди и широкими бретелями; сперва она бежит по пляжу, потом подбегает к героине и к тем, кто ее окружает.

— Общее здравств! Как вы? Ничего? — спрашивает она.

Героиня машет ей рукой, она садится рядом.

Внезапно разражается дождь. Длинные дождевые струи заливают песчаный пляж.

Артистка вспоминает: жаркий день, июльское солнце неумолимо палит, но по сценарию необходим дождь. И режиссер отдает приказ: да будет дождь!

Такое возможно только в кино: десять пожарных брандспойтов дружно обрушивают на пляж потоки воды, на экране проливной дождь, героиня вместе с подругами бежит в гору, и она срывается вслед за героиней, все бегут, не разбирая дороги, а дождь между тем бьет их по мокрым волосам, по спине, но вот уже снова повсюду сияет солнце, и небо становится голубым, и герой на полпути встречает героиню, раскрывает ей свои объятия, и оба застывают в долгом кинематографическом поцелуе, а подруги с умилением глядят на влюбленных издали. Долгий поцелуй, знаменующий традиционный экппи энд, завершает фильм. Конец.

Вспыхивает свет. Через несколько минут начнется новый сеанс. Из зала уходят все, кроме артистки. Иные поглядывают на нее, может быть, узнали в ней молодую беспечную длинноножку в черном купальнике, что всего лишь несколько минут назад предстала перед ними на экране?

Да нет, откуда! Она и сама сознает, как неузнаваемо изменилось за эти годы ее лицо, должно быть, и родная мать не узнала бы...

Одна-одинешенька остается она сидеть в пятнадцатом ряду. И никто ее не беспокоит, никто не спросит, почему она не выходит. Здесь, в Кинотеатре повторного фильма, популярность ее неподдельна, билетерша ободряюще улыбается ей, стоя в дверях:

— Не устали?

— Нет, что вы, — отвечает артистка.

Она охотно беседует с билетершами, с буфетчицей, с кассиршами, рассказывает им о новостях кино, которые подчас докатываются до нее. И они знают от артистки о том, что знаменитая Мери Пикфорд, любимица Америки, жива до сих пор, но не выходит на улицу никогда, потому что не желает, чтобы кто-то увидел ее неузнаваемо изменившееся лицо, ведь ей без малого девяносто. Артистка первая рассказала им о самоубийстве Мэрилин Монро, о дебюте Лайзы Минелли, о похищении гроба Чарли Чаплина. Они слушают ее с непритворным интересом, переглядываются и качают головой: что за чудеса творятся в киномире!

Снова звонок, распахиваются двери, вливается поток зрителей, растекается по рядам, переговариваясь и усаживаясь на свои места. Снова гаснет свет. И снова начинает светиться белое полотно, ослепительно улыбается герой, мчится на неоседланной лошади героиня с развевающимися волосами.

Артистка до сих пор хранит в памяти и героя, и героиню, и тех, кто снимал фильм. Ей вспоминается в этот момент, как герой приезжал на съемку со своей женой, кукольно красивой брюнеткой, не спускавшей с него черных недобрых глаз, а героиня, хорошо скакавшая на лошади, постоянно опаздывала на съемки, и режиссер (как ясно по сей день видится широкий оскал лягушачьего его рта и сияющая, в полголовы лысина) не уставал выговаривать:

— Милочка, сколько можно? Неужто нельзя встать на полчаса раньше?

И героиня отвечала капризным голоском балованной примадонны:

— Значит, нельзя! И не требуйте от меня невозможного!

Режиссер разводил руками, а она, артистка, самая незаметная из незаметных, повторяя про себя немногие слова своей роли, думала с вождением:

«Ох, если бы я... Дали бы мне эту роль! Я бы встала в шесть, в пять, в четыре утра! Я бы приехала на студию раньше всех и никогда, ни на одну минуту не опоздала бы! Никогда, ни за что!»

Она и в самом деле была дисциплинированна, аккуратна, точна, и все это из-за преданной, поистине бескорыстной любви к кино, бескорыстной, потому что статисты, в сущности, получали до обидного мало.

А годы между тем мелькали один за другим, словно кадры на экране. Появлялись новые кинофильмы, новые молодые герои и героини сменяли старых, порядком приевшихся актеров, и зрители мало-помалу привыкали к новым актерам, к их гриму, прическам, костюмам, диалогам, манере игры...

И ее все реже приглашали сниматься в массовках, не говоря уже об эпизодах.

Правда, однажды молодой, но уже известный режиссер, поставивший два нашумевших фильма, прикусив погасшую сигарету, как-то проходил мимо и вдруг вскинул на нее острый прищуренный глаз.

— А вот эта подошла бы для старухи, — уронил на ходу.

И помреж, блондиночка из породы флакончиков, в тугих джинсах с цветастой маркой на задку, моргая густо накрашенными ресницами, промолвила послушно:

— Действительно, типичная старуха...

Поначалу она подумала, это вовсе не о ней. Какая она, в самом деле, старуха? Это о ком-то другом, а вовсе не о ней, конечно же, не о ней...

И тут же поняла, что нет, это именно о ней. Блондиночка быстро проговорила, глотая слова:

— Значит, так. Приходите завтра, в девять утра. Договорились?

Она кивнула:

— Договорились.

В тот вечер она долго, внимательно разглядывала свое лицо в зеркале и думала будто бы о ком-то решительно постороннем: «Как же это все случилось? Когда успела так неожиданно, так быстро нагряться старость? Вот уже и старух предлагают играть...»

Вспомнилось: много лет назад в одном фильме ей поручили эпизод, по тем временам довольно продолжительный: она играла участницу художественной самодеятельности, пела романс, аккомпанируя себе на гитаре.

Специально для этого эпизода она выучилась играть на гитаре, а петь любила всегда. Голос у нее был глуховатый, с придыханием, впрочем, довольно приятный; несмотря на не очень четкую дикцию, многие считали, что ей особенно хорошо удаются цыганские романсы.

И она бездумно выговаривала грустные слова, ни на секунду не проникаясь их смыслом:

В жизни все неверно и капризно,  
Дни бегут, ничто их не вернет.  
Нынче праздник, завтра будет тризна,  
Незаметно старость подойдет...

В ту пору старость была от нее до того далека, что она даже в шутку представить себе не могла, что когда-нибудь может состариться. Да нет, не бывать этому! Никогда в жизни!

Ровно в девять она явилась на студию. Блондиночка рассеянно повела на нее томным, удлинненным карандашом «живопись» глазом.

— Вы к кому? — спросила.

— К вам, — ответила она. — Вы просили приехать, пробоваться на старуху...

Блондиночка улыбнулась:

— Ах, да. Совсем забыла. Совершенно верно, пройдите в гримерную. Знаете, где гримерная?

— Примерно, — ответила артистка.

Ее утвердили на эпизод, но, как и следовало ожидать, роль старухи была крохотная, самая что ни на есть проходная.

Старуха сидит на скамейке возле дома и, когда к ней подходит молодой человек и спрашивает, не видела ли она синюю машину с откидным верхом, она отвечает:

— Нет, не видела. Как-то мне ни к чему...

Вот и вся роль. Одним словом, эпизод.

Когда-то старик Аркадьев, работавший еще у самого Ханжонкова вторым режиссером, сказал ей:

— Вы заслуженный мастер эпизода...

И она не знала, обидеться ли ей на эти слова или гордиться ими.

В конце концов решила забыть о них, как не слышала.

Спустя несколько лет ей довелось прочитать о себе в журнале «Искусство кино». Впервые она увидела свою фамилию напечатанной в журнале и не переставала вглядываться в нее, испытывая чувство непритворного удивления.

Некий киновед перечислял актеров второго и третьего плана, уверяя, что именно от этих актеров зависит подчас успех ленты.

Он был настойчив в своих уверениях, можно было подумать, что самое главное в любом фильме — вовсе не звезды, а только лишь статисты и второстепенные актеры. В числе перечисленных была и она. Ну и что с того? Разве это упоминание сумело изменить что-либо в ее жизни? Разве посетил ее после того тот, кого она ждала так долго, так истошно — его величество Случай? Наконец, разве кто-нибудь, и прежде всего она сама, поверил киноведу, что второстепенные участники картины — самые важные?

...Четвертый час подряд она в зрительном зале. Вновь и вновь мелькают знакомые кадры. Дождь обрушивается внезапно на землю, бежит в гору героиня, на дороге возникает герой, улыбаясь своей знаменитой улыбкой. А вот и ее молодое, неискушенное, не исклеванное жизнью лицо ненадолго появляется на экране...

И кажется на миг, что она снова та, прежняя, совсем юная, еще не лишенная надежд, еще мечтающая о блестящей карьере, еще не знающая своего будущего.

Впрочем, кто из них знал свое будущее? Кто мог предугадать его?

У главного героя, любимца публики, было много далеко идущих планов, но он не успел осуществить и половины, умер незадолго до войны, сравнительно молодым. Тогда это называлось разрыв сердца, позднее стали называть инфарктом. И героиня, несмотря на свою красоту и обаяние, вскоре же скончалась от воспаления легких: простудилась на съемках, ведь в ту пору еще не знали о могучей, исцеляющей силе антибиотиков...

Старый актер-резонер прожил, как ни странно, дольше всех, умер всего лишь года три, что ли, тому назад.

Молодой режиссер, у которого артистка снялась в роли старухи, обрюзг, потолстел, некогда тонкое, с обтянутой кожей лицо стало отечным, под глазами мешки, щеки оттягивают вниз массивные брыли. Он многое обещал, но не сумел выполнить всех своих обещаний, и его давно уже обогнали собственные ученики, он злится, неистово завидует, озлобился и готов всех кругом разнести в пух и в прах.

А тот режиссер, самым первым снявший когда-то артистку в своей первой картине, погиб на фронте, уже в конце войны, во время боев за Берлин. И бессменный его кинооператор, с которым он постоянно работал вместе, пропал без вести. И еще многие, многие, кого знала артистка, с кем приходилось работать, не вернулись с фронта. Теперь их портреты — на стене киностудии, среди портретов других участников Великой Отечественной войны, погибших за Родину.

Однажды артистке посчастливилось участвовать в картине, в которой главную роль исполняла знаменитая актриса, краса и гордость русского театра.

По сей день звучит в ее ушах густой, низкий, с благородными интонациями голос актрисы, видится чуть продолговатое, все в родинках, темнобровое лицо, глубокие, задумчивые глаза, нервно вздрагивающие губы...

Недавно ей привелось увидеть знаменитую актрису по телевизору. Тяжелобольную, знающую о том, что она обречена, актрису на один вечер привезли в театр из больницы, она с блеском, вдохновенно сыграла свою роль стареющей звезды варьете.

И она сама, и зрители, сидящие в театре, понимали, что это, наверное, последняя роль прекрасной актрисы. Но голос ее звучал так же, как и обычно, четко, наполненно, старые глаза вдруг зажглись былым светом, стали ненадолго молодыми, яркими, а когда она, сев за рояль, бросила на клавиши руки и запела романс, некогда принесший ей славу, запела сильно и в то же время неизъяснимо задушевно, весь зал встал в едином порыве, приветствуя мужество, талант, неиссякаемую верность своему призванию...

И она, артистка, тоже невольно встала, хотя и была в комнате совершенно одна, не замечая слез, струившихся по щекам, громко захлопала в ладоши.

Сейчас в зале, когда она не сводит глаз с актеров, она подмечает все разом — неумело, чересчур густо наложенный грим, в те дни техника грима была еще совершенно не освоена, нечеткие, неразработанные движения, примитивность игры. И в то же время не может не удивиться: «Как же это так, что многих уже нет в живых?» Не верится, что те, кто остался жив, сильно и необратимо состарились, стали неузнаваемыми...

Когда снова вспыхивает свет, она случайно оборачивается и встречается глазами с человеком, сидящим сбоку, на ряд дальше. У него усталое, изрезанное морщинами лицо, хмурые брови.

Но что-то в этом немолодом, казалось бы, решительно незнакомом лице кажется ей виденным уже не раз. Словно некогда, в другой, далекой, непохожей на теперешнюю, жизни им приходилось видеть друг друга.

Она все пристальней вглядывается в него, и он, чувствуя на себе ее взгляд, тоже глядит на нее, молча сосредоточенно хмурия седые брови.

Определенно она знает этого старика! Она старается вспомнить, кто он, почему ей знакомы эти впалые голубоватые виски, седые, слегка кустистые брови, брюзгливо сложенные губы?

Почему она безошибочно угадывает все последующие его движения? Вот он встает, проводит ладонью по лбу, как бы сгоняя что-то мешающее ему, надевает шляпу, она знает: сейчас он нахлобучит ее низко-низко, и походка его тоже знакома ей — опущенные плечи, голова тоже опущена вниз, словно он ищет то, что безвозвратно утеряно...

Не доходя до дверей, он оборачивается, снова встречается с нею взглядом. Узнал он ее? А она узнала ли? Может быть, это тот, с кем приходилось видаться в юности, кого она любила всей силой своей пылкой, еще не окрепшей души? Или нет, это другой, чей путь однажды случайно скрестился с ее путем, кого, думалось ей, она успела позабыть, а выходит, что не забыла, помнит до сих пор. Кто же это? Кто?

Он уходит, а она все думает о прошлом, которое не вернуть никогда, ни за что, о тех, кого она любила и кто, как ей казалось, любил ее.

Ведь в прошлом, каким бы оно ни было, осталась часть ее жизни, ее мысли, чувства, радости, печали, надежды, заботы, и уже из-за одного этого невозможно откеститься от прошлого, позабыть о нем.

Прошлому суждено оставаться с человеком до конца, до последней минуты...

Дождавшись, когда ее лицо мелькнет еще раз на экране, артистка начинает тихонько пробираться к выходу.

Билетерши спрашивают:

— Нагляделись?

Она молча кивает.

Билетерши переглядываются. Как же она вдруг разом, в один миг, постарела, поблекла! Видно, что в этом возрасте ничто не проходит даром, в том числе и четырехчасовое сидение в душном зале.

— Старее не по дням, а по часам, — говорит одна билетерша, та, что помоложе, но другая, много старше годами и потому снисходительней, жалостливей, возражает:

— Вот уж нисколько! Да ей ведь всего-то каких-нибудь семьдесят с хвостиком. Разве это так уж много?

— А то мало, — иронически усмехается молодая.

— Не мало, но и вовсе не много, — говорит старая билетерша. — В такие годы, если правильно себя вести и следить за собой, можно еще надолго отодвинуть старость.

И, приосанившись, старательно выпрямляет спину. Пусть все видят, какая она до сих пор стройная, подтянутая, выглядит намного моложе своих лет, а все потому, что правильно ведет себя, следит за собой и таким образом отодвигает старость...

Артистка идет по Калашному к себе домой. Дома с наслаждением закуривает сигарету. Всего лишь вторую сигарету за день. И выпивает чашку крепкого кофе. И в который раз вспоминает о тех, кого уже нет, о прошлом, которое представляется пусть не безоблачным, не совершенным, но волнующим, по-своему интересным, удивительным.

Недаром, когда она в настроении, как начнет иной раз рассказывать соседям о том, в каких картинах снималась, с кем приходилось видеться, все слушают ее безмолвно, ловя каждое слово.

Должно быть, недаром говорят: что пройдет, то будет мило.

Ах, если бы люди могли ценить настоящее, не жить прошлым, не упиваться будущим, а ценить день и час, в которых проходит невозвратное время жизни, насколько они были бы счастливее! И насколько легче было бы жить дальше...

Так думает артистка, докуривая очередную сигарету. Правда, сама она не следует этому правилу, потому что часто, даже слишком часто вспоминает о минувшем, которое уже никогда не вернуть...

Тишина царит в маленькой квартирке, полная, устойчивая, ничем не нарушаемая. Изредка позвонит телефон, артистка снимает трубку, это или соседка по дому, или старинная (какая еще может быть в ее возрасте?) знакомая. Спросит, как прошел сеанс, вспомнила ли тех, с кем снималась в этой картине?

Артистка подробно отвечает: сеанс, вернее сказать, сеансы прошли хорошо, разумеется, вспомнила всех партнеров, и впечатление самое хорошее, и, чего греха таить, понравилась самой себе...

Потом снова тишина. Артистка молча курит, время от времени с надеждой поглядывая на телефонный аппарат. Молчит, черт бы его побрал! Молчит как зарезанный!

А до чего же хочется, чтобы раздался наконец долгожданный звонок и голос помрежа, все равно какого, все равно с какой студии, спросил:

«Вы свободны? Вот и ладненько. Завтра в восемь на студию, будет массовка, возможно, попробуем и эпизод...»

## ОДИНОКИЙ С СОБАКОЙ СНИМЕТ КОМНАТУ

### 1

Когда я еду в город, она спрашивает меня:

— Скоро вернешься?

— Не знаю, скорей всего завтра, а может быть, послезавтра, — отвечаю я.

— Не забудь пообедать,— наставляет меня она.— А то, я знаю, закрутишься и забудешь, а тебе это вредно. И потом, помни, что сказал доктор, после обеда походи немного, слышишь?

— Разумеется, слышу.

Она машет рукой. Аут стоит рядом с нею, глядит вслед моей машине, и мне кажется, что дочка и собака смотрят одинаково: детски-беспечно, весело, мол, и жизнь хороша, и жить хорошо. И пусть всегда будет солнце!

Туся полагает, что я верю ей. Конечно, я бы верил ее радужному настроению, если бы не один случайно подслушанный разговор.

Однажды, когда уже близились сумерки, я прилег на часок в саду.

— Нехорошо засыпать под вечер,— заметила Туся.

— Почему?

— Будут сниться плохие сны.

— Пусть,— сказал я.— Зато, когда проснешься и поймешь, что это всего лишь сон, на душе сразу станет хорошо...

Она легко согласилась со мной:

— Наверно, ты прав.

Я заснул мгновенно, как провалился. Не знаю, сколько проспал, все-таки, очевидно, немало, потому что, когда проснулся, кругом было уже темно, сквозь ветви березы, под которой стояла моя раскладушка, виднелись в небе далекие, еще тусклые звезды.

Я опустил руку, и она нащупала лохматую голову Аути, он лежал, как всегда, рядом со мной, стерег мой сон.

Я хотел было уже встать, как вдруг услышал Тусин голос. Должно быть, она и мать сидели на террасе, а дверь в сад была открыта.

— Все это до того, в общем, грустно...

Так сказала Туся, а то, что ответила Валя, я не слышал. Думается, что-то вроде: «Перестань, не надо...»

— Как это перестань?— каждое Тусино слово ясно доносилось до меня.— Почему перестань?

— Потому что нечего себя распускать.

— Я еще когда в школе училась, уже тогда никому ничего не говорила об этом, и все годы никто не знал, что у нас случилось.

Голос ее прервался. Видно, заплакала. Я догадался, о чем она говорила. Она боялась чужой жалости, чужого сочувствия и потому никому не призналась, что мы с Валей разошлись.

Когда она училась в школе, к ней постоянно приходили друзья, и никого не удивляло, если меня не заставляли дома.

— Не хочу, чтобы меня жалели...

Мне думалось, что Туся легко отнеслась к нашему разрыву. Но оказалось, я ошибся.

И теперь я лежал и слушал то, что она говорит.



Голос ее прерывался от слез.  
— Вы оба эгоисты, и ты, и папа!  
— Никакие мы не эгоисты, — возразила Валя. — Жестоко ошибаешься, девочка.  
— Нет, к сожалению, не ошибаюсь, и ты, мама, хорошо знаешь, что я говорю правду...  
Я не расслышал, что сказала Валя. Туся продолжала:  
— Вчера ночью проснулась, и будто кто-то толкнул меня в сердце: почему у нас не так, как у других? Почему я им до лампочки, и они живут каждый сам по себе?  
— Успокойся, не плачь, — сказала Валя.  
Однако Туся не желала успокаиваться.  
— Все-таки почему, ну почему у нас все так получилось?  
Я не расслышал, что сказала Валя. Снова донесся Тусин голос:  
— Ужасно не люблю плакать, но что же делать? И ночью тоже не хотела, а плакала...  
— Ночью как-то особенно плачется, — помедлив, произнесла Валя.  
— А ты откуда знаешь? — спросила Туся. — Разве ты когда-нибудь плачешь?  
— Случается, — ответила Валя.  
Несколько мгновений они молчали. Потом Туся начала снова:  
— У нас в школе завуч всегда говорила, что я типичная девочка из благополучной семьи. Самой что ни на есть счастливой.  
— И очень хорошо, что она так говорила, — сказала Валя. — Ведь ты же сама желаешь, чтобы никто ничего не знал.  
— Да, желаю, — почти воскликнула Туся.  
— И отлично. А теперь иди, буди папу, а то он окончательно отсыреет.  
— Иду, — отозвалась Туся.  
Сбежала со ступенек крыльца в сад, негромко позвала меня:  
— Папа, вставай...  
Я стал ворочаться, громко зевнул, для пущей убедительности проговорил нарочито сонным голосом:  
— Это ты? Сейчас встаю...  
Туся села в моих ногах.  
— Как, выпался?  
— Вроде бы.  
В свете луны ее лицо казалось очень бледным, а глаза необычайно большими.  
Наверно, ей хотелось знать, не услышал ли я чего-нибудь.  
Я еще раз зевнул.  
— Встаю.  
— Пора, мой друг, пора, — сказала Туся. — Сейчас будешь чай пить, а потом ляжешь спать так, как полагается, как все нормальные люди, в постель...

Иногда мне сдается, что она считает меня куда моложе и неразумнее себя.

Может быть, она права? Может быть, так оно и есть на самом деле?

\* \* \*

Однажды я пришел на стадион «Динамо», там в этот день был матч ветеранов.

Играли команды двух знаменитых клубов.

Это был, может быть, самый первый матч ветеранов, позднее подобные матчи стали проводиться чаще, наверно, для того, чтобы старики могли хотя бы еще раз тряхнуть стариной, вспомнить былые сраженья.

Помню, как они появились на поле, прославленные, популярные в прошлом игроки.

Стадион, не сговариваясь, встал и стоял до тех пор, пока не раздался свисток судьи.

Взлетел мяч. Началась игра. Было как-то странно, непривычно видеть на поле пожилых, почти сплошь лысых, обрюзгших футболистов, которые казались особенно неуклюжими, даже смешными в майках и трусах. Они бегали по полю, гонялись друг за другом, водили мяч, забивали голы и снова разбегались в разные стороны.

Стадион бушевал. Болельщики кричали на разные лады, окликали игроков, как бывало, по именам, подбадривали их своими воплями.

Я сидел в пятом ряду на восточной трибуне.

И, странное дело — по натуре я азартен, а уж спокойно видеть футбол и вовсе не могу, — однако на этот раз я остался спокойным. Сам себе дивился: ни разу не вскочил, не крикнул, даже не вздрогнул, словно вовсе не я, а кто-то совсем другой, равнодушный и холодный, сидел на трибуне.

А мне было просто жаль их, еще недавно знаменитых, избалованных популярностью, прославленных и теперь навсегда ушедших из спорта.

Между тем они бегали, орали, бесновались, забив гол, бросались друг другу в объятия, все так, как когда-то в дни славы и молодости, но мне казалось, это все понарошку, словно дети играют во взрослых, а болельщики не принимают их всерьез и относятся к ним снисходительно.

И еще я подумал, что болельщики, должно быть, кричали и подбадривали футболистов не потому, что и в самом деле переживали и волновались за них, а из чистой жалости.

Они жалели бывших знаменитостей, но не хотели, чтобы те знали, что их жалеют. И болельщики делали вид, что волнуются за них без дураков, по-настоящему.

Ведь жалость, в сущности, унижает...

В ту пору мне было около двадцати трех. Я только еще входил в большой спорт, был молод, полон сил, желаний, надежд, пусть даже

и таких, которым никогда не суждено сбыться, меня ожидало будущее, представлявшееся ярким, блистательным, полным побед и радостных свершений, старость казалась далекой-далекой, подобно никогда не достигаемой линии горизонта.

Однако шли годы, время летело с поистине космической скоростью.

Минуло мне тридцать, тридцать пять, потом сорок, а вот и сорок три, что называется, вполне зрелый возраст.

В прошлом году я ушел из спорта. За год до того простился со спортом наш прославленный вратарь Сережа Серебров. И вот настал мой черед.

В тот день я играл последний матч. Я забил подряд целых три гола. Кажется, никогда еще я не был в такой отличной форме.

После матча были речи, восхваления самого высокого толка — непревзойденный, талантливый, удивительный. Подарки, грамоты, рукописания, последний круг почета, который я прошел вдоль трибун, как бы купаясь во всеобщем обожании.

К моим ногам падали брошенные с трибун цветы, болельщики дружно скандировали:

— «Слава Славе... Слава Славе...»

И хлопали в ладоши.

Я поднимал руки, прижимал цветы к сердцу, охотно улыбался, а в душе сидела заноза: сегодня прощаюсь со спортом. Отныне, навеки, навсегда...

Потом я увидел Тусю и Валю. Они сидели рядом, смотрели на меня.

Я поднял руку, помахал им, широко, может быть, даже чересчур широко улыбнулся. Туся в ответ помахала мне ладонью, а Валя продолжала по-прежнему молча, пристально глядеть на меня.

Что было в этом взгляде? Боль за меня или жалость, застенчивая, боязливая, не желавшая, чтобы ее распознали, или еще что-то, чего я так и не сумел понять?..

И все время, пока я обходил стадион, улыбался, как бы купаясь в обожании зрителей, приветствуя всех сидевших на трибунах, и позднее, пожимая многочисленные руки, позируя перед объективом фотоаппаратов, я не мог позабыть этот взгляд, исполненный то ли боязни, то ли обиды за меня, что ли...

Мое объявление, написанное красным фломастером по белому, висело под стеклом на стенде Мосгорсправки возле Кировского метро: «ОДИНОКИЙ С СОБАКОЙ СНИМЕТ КОМНАТУ ЗА ГОРОДОМ».

Признаться, я не ожидал такого количества звонков. Звонили с раннего утра до позднего вечера. Большей частью звонили женщины.

Я исписал целый блокнот адресами дачных поселков, близости или вдалеке от Москвы, на берегу канала, в лесу, возле поля, за рощей...

А какие дачи сулили мне! А удобства одно лучше другого — душ в саду, телефон, оранжерея, бассейн, сауна, ягодные кусты, с которых бери и рви ягоды сколько душе угодно, трава по колено, валяйся в ней хоть день-деньской.

У меня глаза разбегались, столько соблазнительных предложений. И я решительно не знал, на чем следовало бы остановиться.

А потом позвонила Туся. Поначалу я не узнал ее.

— Какая комната нужна вам? — спросила она.

— По возможности хорошая, — ответил я. — На не очень населенной даче и не очень далеко от Москвы.

— Хотите Синезерки?

— По какой дороге?

— Под Волоколамском.

— Далеко? — продолжал я спрашивать, все еще не узнавая Туси.

— Да, — ответила она. — Далековато, но место чудесное.

— Чем же? — спросил я.

— Река, лес и все, что хотите, на все сто двадцать пять с половиной!

Тут я узнал ее. Именно по этому выражению. Она часто говорила так: «На все сто двадцать пять с половиной».

— Это ты? — спросил я. — Откуда взялась?

— Из галактики, — ответила она.

— Надо же! — сказал я.

— Что это тебя потянуло снять комнату на даче?

— Во-первых, для разнообразия.

— Вот как, — сказала Туся. — Силен у меня отец, разнообразия ему, видите ли, захотелось. Ну, а во-вторых, что же?

— Во-вторых, по слухам, лето обещают жаркое, душное, а мне и Ауту поэтому полезнее находиться в это время на свежем воздухе.

Туся засмеялась. Она могла смеяться сколько угодно, но кто же, как не она, знала, что еще зимой у меня обнаружили диафрагмальную грыжу и врачи мне прописали, помимо всяких лекарств, диету и, как ни странно, свежий воздух, который, оказалось, весьма благотворен для диафрагмальной грыжи.

— Я позвоню тебе вечером, — сказала Туся. — Можно?

— Можно, — ответил я.

— А ты будешь дома?

— Куда же я денусь?

— Кто тебя знает, — протянула Туся. — Стало быть, до вечера.

Она позвонила не вечером, а на следующее утро. Я терпеливо ожидал ее звонка, но так и не дождался. А утром она сказала непрерываемо:

— Есть комната на даче и для тебя, и для собаки.

— Где? — спросил я.

— У нас. У меня и у мамы.

— Где это у вас?

— В Синезерках. У нас там садовый участок. Помнишь?

— Как будто, — сказал я.

Действительно, года три, что ли, тому назад, Валя получила садовый участок в поселке Синезерки под Волоколамском. В ту пору я помогал ей строиться, доставал для дачи тес, шифер, доски, и она построила маленький домик.

Я там ни разу еще не был, хотя и она, и Туся приглашали меня поглядеть на их загородное поместье. Но у меня все как-то не получалось: то тренировки, то игра, то приходилось ехать куда-нибудь, а потом, когда ушел из спорта и начал работать тренером, опять времени не прибавилось, а, напротив, вроде бы стало еще меньше.

«Эх ты, — не раз говорила Валя. — Не можешь приехать, поглядеть, как слабые женщины справляются без помощи сильного пола!»

— А ты не права, мама, — каждый раз поправляла ее Туся, в Тусе постоянно живет несгораемое чувство справедливости. — Разве он мало помогал тебе?

— Ну, помогал, — не очень охотно соглашалась Валя.

— В таком случае не говори, что слабые женщины построили дачу без посторонней помощи.

Валя пожимала плечами. Дескать, к чему спорить с ребенком? Разве Тусю убедишь?

Внешне мы с Валею в самых добрых отношениях. Не знаю, чья это заслуга, моя или Валина, скорей всего обоих.

Мы разошлись давно, тому уже лет десять, но до сих пор терпимы друг к другу, доброжелательны, а когда встречаемся, то мирно беседуем или наперебой острим, у нас такой стиль.

К слову, этот стиль по душе Тусе, она тоже любит непринужденно острить, подшучивать надо мной, над матерью и подчас над собой.

Рано утром следующего дня Туся подъехала ко мне, и мы отправились на моем белом «Жигуленке» к ним, в Синезерки.

Туся села рядом со мной, Аут оперся передними лапами о спинку моего сиденья и всю дорогу исправно дышал мне в ухо.

Примерно через час с небольшим мы были на месте.

— Остановись вот здесь, — скомандовала Туся.

Я остановился возле низенького, облезлого забора из тонкой «вагонки».

За забором виднелся домик — крошечка в три окошечка, окруженный садом. По дорожке сада к нам шла Валя.

— Вот это да, — сказала, — откуда вы? Да еще оба сразу?

— А ты что, недовольна? — отпаривала Туся.

— Нет, почему же, — сказала Валя. — Напротив...

— Вот и хорошо, — прервала ее Туся. — Мы тебе все объясним после. А теперь, ма, чаю! Полцарства за стакан чаю!

— Хорошо, — покорно отозвалась Валя. — Получишь чай и за более дешевую цену.

Я огляделся кругом. Тишина, пчелы жужжат над молодой яблоней. Поодаль стоят еще несколько тонкоствольных вишен и груша. И единственное старое дерево — береза, неподалеку от террасы. Трава по колено, некошенная, густая...

— Нравится? — спросила Туся.

Я кивнул.

Туся озабоченно заметила:

— Правда, все маленькое, словно игрушечное.

— А тебя больше устроил бы стадион или римский Колизей? — спросил я.

Тусяно лицо просияло.

— Значит, ты согласен поселиться у нас?

— А мама не будет против?

— Вот еще, — Туся усмехнулась. — Почему это мама будет против?

Я мог бы ответить на ее вопрос, но мне не хотелось сейчас говорить, хотелось только стоять вот так под березой, подставив лицо солнечным лучам, которые с трудом пробивались сквозь ветви, стоять и слушать, как несмолкаемо жужжат шмели и пчелы...

— Сейчас будем чай пить, — сказала Валя, подойдя к нам и внимательно вглядываясь в меня. — Как здоровье?

С той поры как я заболел, обе они, Валя и Туся, считают своим долгом спрашивать при встрече о моем здоровье. Туся, я знаю, спрашивает от души, а Валя, думается, от хорошего воспитания, оттого что всегда следует интересоваться здоровьем человека, которому за сорок.

Самой Вале ровно тридцать семь и два месяца. Это я знаю точно.

— Ему здесь, по-моему, нравится, — сказала Туся.

Взяла меня за руку, вместе со мной вошла на террасу.

— Начинаем осмотр, — сказала Туся.

Терраса походила на ящик, в котором хранят масло или пиво; посередине стол, две миниатюрные табуретки, а на узких окошках — совсем крохотные занавески, васильковые в белый горошек.

— Идем дальше, — командовала Туся. — Продолжаем осмотр. Вот эта комната наша с мамой, а это твоя. Усек?

В комнате, предназначенной для меня, стояла раскладушка и малюсенький, совсем кукольный столик. Больше там ничего не было и ничего не смогло бы поместиться.

— Как, устраивает? — спросила Туся.

— Нас с Аутом вполне.

— Вот и отлично, — великодушно произнесла Туся. — Что и следовало ожидать.

С той поры прошел месяц. Я остался жить в Синезерках.

Когда я не еду в город, то завтракаю и обедаю вместе с Тусей, она готовится в институт и потому большей частью сидит на даче. По субботам приезжает Валя. Мы с Тусей встречаем ее на машине.

С виду мы вполне respectable, дружная семья: живем вместе, ходим на речку купаться, в лес за ягодами, вечерами подолгу гуляем вдоль берега. По воскресеньям я шеф-повар, на мне лежит праздничный обед. Туся считает, что я непревзойденный кулинар. Я научил ее варить плов и печь пироги из слоеного теста.

Однажды Туся сказала:

— Если бы всегда так было...

— Как так? — спросил я.

— А то сам не знаешь? — удивилась Туся.

Я не стал больше допытываться, и без того понял, что она хотела сказать. Самое ее большое желание — чтобы мы жили все вместе, как и полагается в обычной, нормальной семье. Но что же делать, если все сложилось иначе?

Туся считает нас, меня и Валю, эгоистами, которые думают только о себе, а о ней просто-напросто забывают.

Неужели она права?

## 2

Моя мама вполне современная женщина. Что называется, на все сто двадцать пять с половиной.

Деловита, энергична, начисто лишена сентиментальности, никогда не комплексует, а потому всегда чувствует себя уверенно, добра в пределах допустимого и абсолютно обязательна. Если дала обещание сделать что-либо, можно не сомневаться, слово свое выполнит.

Мою бабушку, ее маму, я тоже могу назвать вполне современной.

Когда-то она потребовала у мамы, а позднее у меня, чтобы ее ни в коем случае не звали ни мамой, ни бабушкой, а только по имени — Дусенька. Она — Евдокия Алексеевна, но ее решительно все — родные, знакомые, соседи, сослуживцы — только так и зовут — Дусенька.

Когда я была совсем маленькая, я попробовала было назвать ее бабушкой. Что тут было! Она не на шутку рассердилась; до сих пор помню суровый Дусенькин голос: «Запомни, я Дусенька, и только Дусенька. Никакая не бабушка, поняла?»

В ответ я заревела изо всех сил, но больше уже никогда не пыталась звать ее бабушкой.

Один знакомый Дусенькин журналист сказал, что институт бабушек непроизвольно помолодел и Дусенька — самое яркое тому доказательство.

Он не одинок: со всех сторон Дусеньке твердят о том, как она молода, современна, даже хороша собой, хотя лично я не могу с этим согласиться. Она на редкость некрасива: большое лошадиное лицо, огромные зубы (кстати, ни одного вставного, все свои, чем она очень гордится), узкие, часто мигающие глаза. Но Дусенька довольно удачно справляется со своей некрасивостью, умеет одеться по моде, достаточно нена-

вязчиво, но убедительно подмазаться и потому выглядит почти миловидной, во всяком случае, много моложе своих лет. Уже целый год у нее пенсионный возраст, однако она решила никогда и ни за что не выходить на пенсию.

Сама о себе она говорит: «При вечернем освещении я больше чем на сорок пять не выгляжу».

Что касается утра и дня, то, само собой, тут уж ничего не поделаешь, иной раз она прямоком тянет на все свои годы.

Работает Дусенька агентом Госстраха. По словам ее друзей, отлично знает свое дело, может уговорить застраховаться кого угодно, древнего старика или несмышленного младенца. А что говорят ее враги, предпочитаю не знать. Все равно не поверю ни одному слову.

Я люблю Дусеньку, даже преклоняюсь перед ней, за ее энергичность, постоянно ровное, веселое настроение, вечную молодость, единственный камень преткновения между нами — мой отец. Она не выносит его и боится, что мама с ним снова сойдется.

«Зачем он ей? — спрашивает Дусенька, и сама же отвечает: — Вот уж кто не нужен ей, так это вот этот самый тип, у которого интеллект не вырос дальше коленной чашечки».

Я обижаюсь за отца и отчаянно спорю с Дусенькой. Но она демагог будь здоровчик, взлелеянная своим Госстрахом, умеет настаивать, убеждать, доказывать, недаром считается лучшим работником этого учреждения — там эти качества наверняка незаменимы, она только брезгливо кривит губы и талдычит свое: «Кому он нужен, этот футбольный мяч на двух ногах? — И добавляет довольно самоуверенно: — Хорошо, что моя дочь догадалась с ним разойтись. Хоть и поздно, но все-таки схватилась за ум!»

Почему они разошлись? Если бы я знала! И если бы могла понять...

Вроде бы не было никаких трагедий, ни он ни в кого не влюбился, ни она не потеряла ни от кого голову.

В ту пору я училась в третьем классе. Понимала многое, но, конечно, не все.

Мама сказала мне:

— Теперь папа будет жить отдельно от нас.

— Почему? — спросила я.

— Так лучше и для него, и для нас, — ответила мама.

Я возразила:

— Для меня не лучше ни на вот столечко...

И заплакала. В детстве я была страшная плакса, это с годами у меня подтвердел, закалился характер, и я очень редко теперь плачу.

Однажды, это было уже много позднее, мама призналась:

— У нас любви не хватило на обоих.

— Как это не хватило? — не поняла я.

— Очень просто, не хватило, бывает же так, что материала на пласть или на пальто не хватает? Вот и у нас было вроде этого...



Я ничего не поняла. И она больше ничего не сказала, сколько я ни допытывалась.

Когда я спросила отца, почему они разошлись, он ответил:

— Поверь, ничего серьезного не было. Никакой уважительной причины.

— Так почему же, почему? — не отставала от него я. — Почему же вы разошлись? Неужели нельзя было переступить через какой-то пустяк? Сам же говоришь, что никакой серьезной причины не было!

— Не было, — согласился он. — И переступить, разумеется, можно было через все эти пустяки, которые нам мешали, просто дураки мы с твоей мамой были, такие дураки...

Видно, он и сам жалеет, что так все вышло. И мама, наверно, тоже жалеет. Так почему же им не исправить бы свою ошибку? Почему?

Надо же так: он сломал ногу!

Непобедимый бомбардир, один из лучших футболистов планеты, так о нем писали многие иностранные журналисты, и вдруг поскользнулся на ступеньке террасы. В результате — закрытый перелом голени, гипсовый сапожок и решение врачей: лежать хотя бы первое время.

Мама сказала:

— Хорошо, что врачи не настаивают на больнице.

— А я бы все равно сбежал оттуда, — сказал папа. — Чтобы летом, в жару, лежать на больничной койке? Нет, это выше моих сил!

Мы с мамой постарались на даче устроить ему удобное лежбище. Поставили на террасе топчан, для чего пришлось вынести одну тумбочку и табуретку, на топчан постелили сеник, а сверху — поролоновый матрас и подушку. Рядом на оставшейся табуретке — книги. Читай — не хочу.

Я сказала папе:

— От тебя требуется всего-навсего одно: лежи, читай, не тревожь ногу. К тому же не привередничай, ешь все, что дают. А я тебя буду кормить по твоим рецептам.

Он согласился совсем:

— Ладно, так тому и быть.

Он не умеет болеть. И меня это нисколько не удивляет, потому что он еще ни разу в жизни ничем не болел, правда, у него обнаружили диафрагмальную грыжу, но покамест грыжа ведет себя тихо и не беспокоит его.

Аут не отходит от папы. Лежит рядом, уткнув в лапы морду.

Даже со мной очень неохотно идет гулять. Не проходит и десяти минут, как он стремглав летит к папе, ложится возле топчана. И уже никакая сила не сдвинет его с места.

Папа говорит:

— Мне совестно перед Аутом за себя.

— Почему? — спрашиваю я.

— Потому что я не могу его любить так, как он любит меня.

— А мы все, люди, в долгу перед собаками,— говорю я.— Разве не так?

— Так,— серьезно отвечает папа.— На все сто двадцать пять с половиной.

Как бы там ни было, а собаки и в самом деле удивительные существа. Самые преданные, самые верные друзья, какие только бывают на земле.

Даже моя мама, в общем-то довольно равнодушная к собакам, и та не может не признать, что папин Аут — образец дружбы и верности. Случается, мы с нею встречаемся в городе и вместе едем на дачу. И она первым делом спрашивает меня, что я купила для Аута.

Большей частью я покупаю костей по двадцать пять копеек за килограмм и варю суп с перловкой, этого варева собаке хватит дня на два, на три.

Мама говорит:

— За Аута я спокойна. А что ты купила для папы?

Иногда вечером она садится возле папы на табуретку, и они подолгу беседуют о чем-то. Порой смеются. Мама смеется как бы через силу, неохотно, а отец хохочет от души, вытирая слезы на глазах.

И Аут восторженно глядит на него, высунав большой горячий язык.

В такие минуты я ощущаю себя счастливой. Все хорошо, мы все вместе, он, она, я, вместе дружная семья. Все хорошо, в полном порядке...

Но тем горше становится после, потому что я понимаю, это все не прочно, не навсегда, на считанные минуты, а на самом деле мы живем разобщенно, и, должно быть, моим родителям не суждено быть вместе.

Мне не довелось видеть маму плачущей, кроме одного-единственного раза.

Это было на стадионе, в тот день, когда отец прощался с большим спортом. Много лет подряд он был известным футболистом. О нем писали, его фотографии красовались чуть ли не во всех газетах и журналах, его одолевали разнообразные поклонники и поклонницы, он по праву считался самым, должно быть, популярным из всех спортсменов.

И вот ему исполнилось сорок три года. И он решил уйти, проститься со своим любимым футболом.

Я сидела тогда на стадионе рядом с мамой. Случайно глянула на нее и увидела у нее на глазах слезы.

— Что с тобой? — спросила я.

Она улыбнулась. Улыбка была чересчур открытой, чересчур ликующей, и я ей не поверила.

— Ничего, просто что-то в глаз попало.

Для пущей убедительности мама стала усиленно тереть глаза.

— А вот и неправда,— сказала я, продолжая глядеть на маму.— Тут что-то не то...

Она похлопала меня по плечу:

— Все в порядке, девочка, уверяю тебя...  
— Ничего не в порядке, — возразила я. — И ты это знаешь, и папа тоже.

— Что знает папа? — спросила мама. — Он же страшно доволен, погляди, как все его любят...

Стадион скандировал в один голос:

— Слава Славе... Ура Славе... Молодец, Слава...

— Нет, — сказала я. — Ты, мама, как хочешь, а я знаю, папа жутко переживает.

В маминых глазах что-то быстро мелькнуло, как бы вспыхнуло, загорелось на миг и тут же погасло.

— Да, — продолжала я свое. — Он ужасно переживает, ему тяжело, как никогда в жизни.

Мама ничего не ответила.

— Только смотри не говори ему, — предупредила я. — Не надо, чтобы он знал, что мы жалеем его.

— Разумеется, не надо, — согласилась мама.

И она в самом деле ничего ему не сказала. А я долго не могла забыть мамины страдальческие глаза и ее чересчур громкий смех в ответ на мой вопрос.

И еще был один маленький эпизод, который надолго остался в моей памяти.

Как-то ранним утром я стояла в нашей крохотной кухоньке, варила на керосинке суп из костей для Ауа. Папа начал постепенно ходить и уже всюю шкандыбал по саду, опираясь на костыль. Рядом степенно вышагивал Ауа.

Я хотела было окликнуть папу, но тут увидела маму.

Она стояла чуть в стороне, возле веревки, на которой висели выстиранные мною наволочки и простыни.

Из-за простыней, колеблемых ветром, папа не мог заметить маму, а маме он был хорошо виден. Я подивилась выражению ее глаз, совсем как тогда на стадионе, когда я неожиданно поймала ее взгляд, грустный, как бы ушедший прочно в себя.

Я встала на порог кухни, негромко свистнула. Мама вздрогнула, обернулась, глаза ее, мгновенно прояснев, весело глянули на меня.

— Смотри, как он лихо вышагивает, — сказала я.

— Кто? — спросила мама.

Я поняла, она притворяется, будто и впрямь никого не видит.

— А то не видишь, — насмешливо произнесла я.

— Ах, ты вон про кого, — сказала мама.

— Артистка, — усмехнулась я.

Брови ее сердито сошлись.

— Не смей, — начала она. — Не смей так разговаривать с матерью!

— Хорошо, — послушно кивнула я. — Не буду.

А папа между тем все вышагивал по саду, словно журавль, и Аут ходил рядом, как бы примериваясь к его шагам.

В субботу на дачу приехала Дусенька. Я еще издала увидела ее: быстро идет по улице, вглядываясь в номера возле калиток.

Легкое ситцевое платье, на волосах нарядная шифоновая косынка. И босоножки — наимоднейшие.

Правда, чувствовалось, Дусеньке стало уже невозможно бороться с годами, подступавшими вплотную, к тому же еще ежедневно преодолевать врожденную некрасивость. Я увидела, волосы у нее уже не крашенные, как обычно, а седые, хотя и аккуратно уложены, губы едва тронуты бледной помадой, а на щеках никакого тона.

Быстрая, стремительная, несмотря ни на что, все-таки нестареющая, она мгновенно обежала наш крохотный садик, террасу, обе комнаты, сошвырившись, оглядела меня и маму.

— А вы, девочки, неплохо смотрите вместе.

Внезапно увидела отца, лежавшего на раскладушке, под березой, ошеломленно раскрыла глаза.

— Это еще что такое?

— Тише, — сказала мама. — Я тебе потом все объясню.

Дусенька подошла ближе к отцу, сухо поздоровалась с ним.

— Что, ногу повредил? Да лежи, лежи, не беспокойся. — Бегло провела ладонью по голове Аута. — Люблю собак, но издала, а вблизи от них шерсти не оберешься.

Однажды кто-то, а кто — позабыла, сказал, что от Дусенькиной походки поднимается ветер. Мне вспомнились эти слова, я засмеялась.

— Почему ты смеешься? — забеспокоилась Дусенька. — Не надо мной ли? Я смешно выгляжу? Что-нибудь не в порядке?

Хорошо, что именно в этот момент Аут подпрыгнул за пролетавшей пчелой.

— Он смешно прыгает, — сказала я.

— Да? — рассеянно спросила Дусенька, думая уже о чем-то другом. — Да, ты права, весьма забавен.

Она привезла с собой свежие газеты и коробочку конфет «Цветной горюшек».

— Лучше бы хлеба привезла, — напрямик сказала мама. — Белого или черного, все равно.

— Лучше есть черный, — невозмутимо посоветовала Дусенька. — А еще бы лучше совсем обойтись без хлеба, не то, гляди, потолстеешь!

Сама-то она ела чрезвычайно мало, берегла фигуру. За обедом похлебала немного супа, поковыряла полкотлетки — и все. Обращалась она лишь ко мне и к маме, на отца ни разу даже не посмотрела. То и дело заводила разговор о каких-то мифических женщинах, которые великопечно устроили свою судьбу, удачно вышли замуж за хороших людей и живут себе припеваючи.

— Подумать только, — разглагольствовала Дусенька. — Ведь она тебе в подметки не годится...

— Кто, Дусенька? — устало спрашивала мама.

— Там одна, ты не знаешь, ничего в ней хорошего нет, а какого мужа подцепила, какой подарок!

— Ну и что с того? — Мама благодушно пожимала плечами. — Мне-то что? Пусть себе живет, наслаждается своим подарком.

— Ну да, тебе все равно, — огрызнулась Дусенька. — А вот мне, если хочешь, завидно.

— Зависть — чувство, съедающее человека начисто, — процитировала я фразу из сборника «Мудрые мысли».

Я не могла не вмешаться. Все, что говорила Дусенька, претило мне. Я-то знала, в чей огород летят камешки. И папа знал. Я только разглянула на него, и мне стало ясно, он все понимает. Но вида не подает, сидит как ни в чем не бывало.

А Дусенька между тем неслась все дальше.

— Каждая женщина должна знать одно непреложное правило: надо думать об устройстве своей судьбы, о своем счастье. Поняла?

— Допустим, — ответила мама.

— А ты, Дусенька, думала когда-нибудь об устройстве своей судьбы? — спросила я.

— Конечно, думала, — ответила она. — Еще как думала в свое время. Не моя вина, что ничего у меня тогда не получилось, а теперь поезд уже ушел...

Дусенька явно кокетничала, должно быть, ей хотелось, чтобы мы все начали дружно уговаривать ее, что еще не все потеряно, поезд не ушел и она вполне может устроить свою судьбу.

Но мы молчали, а она, обождав немного, снова принялась за свое, расхваливая неких удачливых счастливиц, прибравших к рукам превосходных мужей, которые усыпают их путь розами, сплошь одними розами...

Она так упорно и долго говорила, что у меня разболелась голова и я начала понимать тех клиентов Дусеньки, которых, по ее словам, она умела уговорить застраховать все, что угодно.

— Да, — заключила Дусенька свой обзор событий. — Интересные и совсем не очень старые женщины, обладающие богатым внутренним миром, в наше время на дороге не валяются, вы не находите?

Теперь уже я поняла, Дусенька явно имела в виду себя одну. Она обвела вопросительным взглядом меня и маму, нарочно минуя папу, и сама же ответила:

— Да, никогда и нигде, не правда ли?

Когда мы пили чай, Дусенька завела уже новую речь — о жалости, о том, что делать добро, жалеть, помогать следует осторожно, разумно и не забывать ни в коем случае о своей собственной пользе.

— Жалость — чувство обоюдоострое, — утверждала Дусенька. — Жалея кого-то, мы тем самым наносим вред не кому-то другому, а только себе. Уверяю вас, мои милые, это так...

Я спросила ее, что значит делать добро осторожно?

— То и значит, — ответила она. — Ведь есть люди, которые не переносят, когда им делают одолжение, даже более того, они мстят за добро, дескать, ты мне сделал добро, а какое ты имел на это право? Стало быть, считаешь себя выше меня? А я на самом-то деле куда выше, чем ты, и не желаю принимать от тебя никаких одолжений...

— Неужели бывают такие люди? — удивилась я.

— Сколько угодно, — веско изрекла Дусенька. — Я бы могла привести вам тысячи, да что там тысячи, миллион примеров...

Однако она не привела ни одного-единного, а заговорила снова о какой-то своей знакомой, совсем недавно вышедшей в пятый раз чрезвычайно удачно замуж.

— Она вообще всегда удачно выходила замуж, — заключила Дусенька. — Бывают такие вот избранники судьбы: им всегда и во всем везет...

— Сколько раз она выходила замуж? — спросила я. — Пять?

— А может быть, даже шесть, — ответила Дусенька. — В первый раз это случилось, когда ей было лет шестнадцать...

Она глянула на меня, должно быть, поняла, что подобный разговор не совсем для моих ушей.

— Или ей было, может, двадцать, не помню...

— Шесть раз выходить замуж, — сказала я. — Каждый раз новый муж, новые привычки, новые особенности...

— Не без этого, — согласилась Дусенька. — Ну и что? Один был лучше другого...

А мне представилась эта избранница судьбы, которая как начала с шестнадцати или с двадцати, все равно когда, выходить замуж, так и не может с тех пор остановиться. Неужели ее можно считать и вправду счастливой? Или так считает одна лишь Дусенька?

Я взглянула на маму, и мне показалось, мама думает точно так же, как и я.

После обеда Дусенька уехала. Коснулась щекой маминой щеки, дернула меня за прядь на лбу:

— Привет. Живите и радуйтесь...

Я вызвалась было проводить ее до станции, но она запротестовала:

— Еще чего! Тебе надо заниматься, а я прекрасно дойду, что я, старуха или несмышлениш?!

Холодно попрощалась с папой:

— Желаю поправиться.

И довольно ласково погладила Аута по голове:

— А ты, в общем, симпатяга.

Когда она скрылась из глаз, мама сказала:

— Что за поразительная беспечность! Приезжает на дачу навестить детей и не привозит ничего, кроме газет.

— А «Цветной горошек»? — напомнила я.

Мама не обратила внимания на мои слова.

— Дусенька в своем репертуаре. Я думала, она с годами переменится, станет хотя бы более заботливой, куда там!

— Ну что ты, в самом деле? — вступился папа. — Это такой своеобразный характер. Его надо принимать и мириться с ним.

Папа относился к Дусеньке добродушно, во всяком случае, куда мягче, чем она к нему. И снисходительней, чем мама. Мне это по душе, папа, как там ни говори, настоящий мужчина: спокойный и добрый даже к тем, кто недолюбливает его.

На следующий день, в воскресенье, неожиданно приехал сосед по московской квартире. Арнольд Адольфович.

В конце прошлого года тишайший жилец с пятого этажа доктор Златкин обменялся с неким гражданином, который, как позднее оказалось, работал лектором в обществе «Знание».

Я его увидела на второй же день: человек как человек, в меру лысый, умеренно грузный, в очках с толстыми стеклами. И на лице — улыбка, должно быть, постоянная, уж очень она выглядит привычной, открывая ряд металлических зубов.

В общем, что мне до него за дело? Но дело все-таки есть. Он — «наш спарщик», у нас с ним спаренный телефон.

Тишайший сосед доктор Златкин разговаривал по телефону от силы час в неделю. Все остальное время забирали мы с мамой, так что, как я понимала, он почти не имел возможности из-за нас пробиться к телефону.

Теперь роли переменялись. Новый «спарщик» говорил с утра до вечера и, кажется, даже ночью.

Однажды я хотела было позвонить, но не тут-то было.

Телефон был заклинен напрочь и, казалось, навсегда.

Я разозлилась и решила подняться к «спарщику» на пятый этаж. Но мама опередила меня.

— Предоставь лучше мне, а то ты раскаленная, как чугунная сковорода, наговоришь невесть чего со зла...

Она отправилась к «спарщику» и, к моему удивлению, вернулась лишь через полчаса.

Я сказала:

— Может быть, надо было объявить всесоюзный розыск, чтобы отыскать твои следы...

Мама замялась, опустила глаза. Я с удивлением увидела, что щеки у нее прямо на глазах стали заметно розоветь.

— Понимаешь, какое дело, — начала она и снова покраснела.

Одним словом, она произвела на него впечатление. Он клятвенно обещал никогда не занимать телефон больше, чем на пять минут. И еще

он сказал, что очень жалеет, что лишен возможности звонить к нам, ведь «спарщики» не могут говорить друг с другом по телефону. Теперь он то и дело заходит в нашу квартиру под различными предлогами: то спросит, работает ли наш телефон, то начинает оправдываться, что говорил больше пяти минут. И при этом все время улыбается, блестя металлическими зубами и стеклами очков.

Я сказала маме:

— Думаешь, ничего непонятно?

— Ты о чем? — спросила мама.

— Наш спарщик имеет на тебя виды, так и знай!

Мама усмехнулась.

— С чего ты взяла?

— С того самого, — отрезала я. — Только помни, если что и случится, то, безусловно, через мой труп...

Я, разумеется, шутила, но в каждой шутке...

Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочерью сравнительно молодой мамы!

И как же долго ждать, пока она в конце концов окончательно постареет!

Уж лучше бы ходила в клуб интересных встреч. Есть сейчас, говорят, такие вот клубы для тех, кому за тридцать. Говорят, туда приходят женщины, навеки потерявшие надежду выйти замуж, а среди мужчин немало женатиков, выдающих себя за свободных холостых молодцов.

Но мама в такой вот клуб не ринется. Сколько бы ее ни уговаривали. Нет, она не такая...

Так вот, наш «спарщик» явился к нам на дачу. Мы с мамой чистили клубнику для варенья, а папа лежал на раскладушке под березой, читал газеты, привезенные Дусенькой.

Я бросала ягоды попеременно то в миску, то в рот, время от времени поглядывая на родителей. Идиллия, да и только. Если бы всегда так было...

Кто-то остановился возле калитки. Оглушительно залаял Аут.

— Кажется, к нам, — сказала мама.

— Разве? — недовольно спросила я. — Кто там еще, в самом деле...

— Да это Арнольд Адольфович, — без особой радости сказала мама. Он уже открыл калитку. Аут бросился к нему.

— Сидеть! — скомандовал папа.

Аут остановился.

— Чудесная собачка, — опасливо произнес Арнольд Адольфович (что за изысканное имя-отчество, однако!), выставив вперед для защиты туго набитую чем-то кошелку.

Аут повернулся, недовольно ворча, лег снова возле папы.

Арнольд Адольфович живо пронесся по дорожке, взлетел на террасу. Сперва бросился целовать мамини руки, потом начал выгружать свою кошелку. На стол посыпались всевозможные свертки и пакеты.



Да, он оказался по-настоящему заботливым, не чета нашей Дусеньке. Чего-чего только не было в его кошелке! И купаты, и жареное мясо, и отварные овощи, картошка, морковь для винегрета, и сосиски, и апельсины, и пирожные — петифуры...

И, само собой, хлеб, три столичных батона и буханка заварного.

— Я же понимаю, — сказал Арнольд Адольфович. — Дача — это не город, здесь все быстро кушается, а купить негде...

Очки и зубы его весело блестели, то и дело он похохатывал, как бы от щекотки. Потом, наклонившись ко мне, кивнул на папу, лежавшего на раскладушке:

— Простите, это кто, какой-то ваш родственник?

— Скорее бывший, — ответила за меня мама. — Это Тусин отец.

Стекля очков Арнольда Адольфовича разом потускнели, словно внезапно погас огонек, освещавший их изнутри.

— Отец? — переспросил он.

Я не выдержала:

— А вы что, полагали, что я родилась безо всякого отца, методом непорочного зачатия?

— Туся, — строго остановила меня мама. Потом сказала, глядя на Арнольда Адольфовича: — Да, это Тусин отец, мой бывший муж...

Между тем папа встал с раскладушки и, опираясь на костыль, поднялся на террасу.

— Знакомься, Слава, — сказала мама. — Это наш московский сосед.

— И друг, — вставил Арнольд Адольфович. — Самый искренний, самый преданный.

— Очень хорошо, — несколько невпопад произнес папа.

Сел напротив меня, вытянув больную ногу.

Арнольд Адольфович взгляделся в него и вдруг всплеснул пухлыми ладонями:

— Нет, не может быть!

— Что не может быть? — вежливо спросил папа.

— Неужели это вы? — воскликнул Арнольд Адольфович. — Владислав Зубриков, звезда современного футбола? Лучший бомбардир современности? Вы сами? Нет, это вы! — радостно повторял он, блестя всем своим металлическим оскалом — Я угадал?

— Угадал, — сказала я.

Его глаза окончательно закрылись в сладчайшей улыбке.

— Подумать только, непобедимый Зубриков.

— Это все в прошлом, — возразил папа.

— Позвольте! — коротенькие ручки Арнольда Адольфовича взметнулись перед папиным носом. — Позвольте, я же ваш давний поклонник, у меня есть целый альбом ваших фото в разных видах, я специально собирал все ваши карточки...

— Спасибо, — устало произнес папа.

Я знала, он не притворяется, он такой, какой есть, и давно уже ему приелась его популярность, надоели поклонники, узнававшие его на улице, подходившие, не стесняясь, за автографом, задававшие самые неожиданные вопросы.

— Вы таким и остались, непобедимым бомбардиром,— упоенно продолжал наш «спарщик». — Самым непобедимым, самым могучим...

Мама отодвинула миску с клубникой и встала.

— А что, если бы нам пообедать? Надеюсь, никто не против?

— Какой разговор,— отозвался Арнольд Адольфович. — Можно помочь вам?

— Нет,— ответила мама. — Не можно. Я люблю все делать сама. Однако он не унимался:

— Может быть, почистить картошку? Или нужна грубая мужская сила, чтобы принести, скажем, воду из колодца?

Мама улыбнулась.

— Не беспокойтесь, пожалуйста, вот и все, что от вас требуется.

Он мгновенно затих, лишь время от времени бросал восхищенные взгляды на папу. Потом таким же восхищенным взглядом окидывал маму, накрывавшую на стол.

Я принесла из кухни кастрюлю с борщом.

Мама произнесла светским тоном:

— Прошу за стол...

И мы все уселись обедать.

### 3

Ранним утром я вышел в сад. Пели птицы, из-за леса катилось большое, но еще неяркое солнце.

Кое-где в тени трава поблескивала росой, не успевшей просохнуть, листья березы казались по-утреннему особенно свежими, праздничными.

Аут бегал по саду, все кругом казалось веселым, сияюще нарядным, но внезапная острая тоска разом сковала меня. Я понял одно: не хочется уезжать отсюда. До чертиков не хочется.

Однако ничего не поделаешь, придется уехать. Почему? Потому что не хочу мешать Вале. Она должна устроить свою судьбу, и она может ее устроить. Недаром Дусенька приводила ей в пример множество счастливиц, сумевших удачно устроиться в жизни, разумеется, с намеком на меня, дескать, есть мужчины, которым я и в подметки не гожусь, и Валя могла бы точно так же хорошо устроиться, но я мешаю. Да, мешаю...

Тем более что имеется претендент, охотно предлагающий Вале заботу, внимание, любовь и ласку.

Возможно, Дусеньке он еще не знаком? Полагаю, что, познакомившись, она наверняка одобрит его, он вполне в ее вкусе. И вполне подхо-

дит, как она выражается, интересной, нестарой женщине, обладающей богатым внутренним миром.

Нога моя почти совсем поправилась. Во всяком случае, я уже бросил костыль и хожу, опираясь на палку. Недалек день, когда брошу палку, она больше мне не понадобится.

Валя окликнула меня с террасы:

— Доброе утро, как ты сегодня?

— Порядок, — ответил я, подходя к террасе.

Она щурила глаза, улыбаясь. Короткие волосы слегка вьются на висках, щеки румяные со сна, ситцевый халатик перевязан на талии тугим витым поясом. Право же, трудно, должно быть, поверить, что у нее взрослая дочь, почти студентка.

Впрочем, Дусенька так же выглядит много моложе своих лет. Это у них у обеих такое фамильное свойство выглядеть до крайности молодо.

— Сейчас еду в город, — деловито произнесла Валя. — Будут какие-нибудь поручения?

— Никаких, — ответил я. — Я тоже на днях собираюсь в Москву и сам все сделаю, что требуется.

— И не думай, — сказала Валя, даже пальцем мне погрозила. — Тебе еще нельзя утруждать ногу. Помни, что сказал доктор.

Я не успел вспомнить, что сказал доктор, как в дверях кухни показалась Туся.

— Папа, завтрак будет готов через десять минут, самое большое.

Я сказал:

— А я не спешу.

— Тем лучше.

Валя поглядела на свои часы.

— А я выпью молока и, пожалуй, поеду. У меня нынче дел по горло.

Держа поднос в руках, на террасу поднялась Туся. На нем стояли чашки, кувшин с молоком, а еще были свежие огурцы, редиска, масленка с маслом.

— А что на обед? — спросила Валя.

— Котлеты, гречневая каша и борщ, — отпаривала Туся.

— Ауту сварила суп?

— Суп вегетарианский, поскольку костей нема, — ответила Туся.

— Почему нет костей?

— Потому что не достала.

— Ладно, — сказала Валя. — Попробую сама достать, по-моему, в кулинарии на Трубной всегда есть кости.

— Мне было не по дороге ехать на Трубную, — сказала Туся.

— Мне тоже не очень, — призналась Валя. — Но ничего, сделаю не-большой кругаль, заеду на Трубную и куплю сразу килограмма четыре костей.

- Ну уж, четыре, — возразил я. — Хватит любой половины.
- Почему хватит?
- Так ведь тяжело таскать.
- Справлюсь, — уверенно сказала Валя.

Вскоре она уехала в город, обещая вернуться на следующий день. Мы с Тусей позавтракали, потом она вымыла посуду, подмела пол на террасе и уселась за стол, разложив на нем свои учебники.

А я вместе с Аутом вышел за калитку. Жаркий июльский день постепенно разгорался над улицей, заросшей травой, над деревьями, над изредка пролетавшими в вышине птицами.

Небо казалось выгоревшим, иссиня-голубым, без единого облачка. Вдали темнел лес, куда мы несколько раз ходили все вместе за лесной малиной.

Должно быть, скоро в лесу появятся первые грибы.

Вдруг ясно представились мне нарядные шляпки грибов, которые прячутся под елками, среди мха и рыжей, взъерошенной хвои.

Не хочется ехать, а надо. Ничего не поделаешь, надо, и все. И точка.

Аут смотрел на меня, словно читал мои мысли. Его чистые, немного выпуклые темно-карие глаза, были полны любви и преданности. Для него я, наверное, был самым добрым, самым могучим, самым сильным на всем свете.

Я нашел его зимой, в трескучий мороз; он лежал в сугробе, брошенный чьей-то злою рукой, и замерзал.

Я поднял его, он почти ничего не весил, этот маленький холодный комочек. Я подышал ему прямо в мордочку, он открыл один глаз и, честное слово, улыбнулся. Да, улыбнулся, хотя глаз его был влажный, словно от непролитых слез.

Я принес его домой. Тогда, это было пять лет тому назад, я только что переехал на новую квартиру, возле метро «Войковская». Квартира была совершенно пуста, мебель стояла нераспакованной, хотя друзья-товарищи грозились в один прекрасный день прийти и навести порядок, красоту, лоск все вместе. Должен прямо признаться, слова друзей-товарищей так и остались словами, в конце концов пришла Валя, а с нею две уборщицы из фирмы «Заря», и втроем они привели мое новое жилье в пристойный и обжитой вид.

Но пока что в квартире царил запустение и было почему-то даже холодно, может быть, от наваленных один на другой ящиков и разбросанных в разных углах чемоданов.

Я спустил щенка на пол, он поковылял на слабых, мохнатых лапках и вдруг, ожив, стал бегать по комнате, а потом подбежал ко мне и ткнулся мокрым носом в мою ладонь.

Я поднял его голову, он снова улыбнулся. И я понял, что уже никогда не расстанусь с ним. Не могу расстаться.

Я назвал его Аутом и оставил у себя. И вот уже пять лет, как он

живет со мной и любит меня больше всех на земле. И я тоже люблю его, но, наверное, не так сильно, как он меня.

Я прошелся по улице, по которой, казалось, никто никогда не ходил, такой она была пустынной, тихой, открыл свою калитку.

Мой «Жигуль» стоял возле забора. Я сел на переднее сиденье, положил обе руки на баранку, попробовал нажать ногой тормоз. Нога уже почти не болела. В общем, порядок, ехать можно.

Туся сбежала с террасы. Рывком открыла дверцу машины.

— Ты что, никак, кататься задумал?

— Не кататься, а уехать, — сказал я.

— Уехать?

Тусин рот, похожий, как все уверяют, на мой, медленно раскрылся.

— Куда уехать?

— Домой. К себе.

— Зачем?

— Как зачем?

Я засмеялся и сам почувствовал, что смех мой звучит ненатурально, деланно.

— Пора и честь знать. Сколько можно беспокоить тебя и маму?

Туся вздохнула так, словно несла что-то очень тяжелое.

— Ты, папа, сущий ребенок...

— Это хорошо или плохо? — спросил я.

Туся махнула рукой:

— Чего ж хорошего, в твои годы быть ребенком, прямо скажем, нерентабельно.

— Как так, нерентабельно? Что это значит?

Туся снова вздохнула:

— А, что с тобой говорить...

Медленно пошла обратно, к дому.

— Туся, — окликнул я ее. — Пстой...

Она не повернула головы.

Что я мог сказать ей? Попытаться до конца выяснить отношения? Зачем? И вообще, к чему ставить точки над «i», не лучше ли стремиться обходить острые углы, вежливо улыбаться, соглашаться со всем, что тебе говорят, а самому поступать так, как считаешь нужным? Только так, не иначе.

И, главное, никого не обижать, не утруждать собой, не быть никому в тягость. И чтобы тебя не жалели.

«Боюсь чужой жалости», — утверждает моя дочь. Я тоже боюсь.

Как это Дусенька давеча сказала? «Жалость — чувство обоюдострое. Жалея кого-то, мы тем самым наносим вред не кому-то другому, а только себе. Уверяю вас, мои милые, это так...»

Дусенька словно бы ни к кому отдельно не обращалась, а на самом деле зорко поглядывала то на Валу, то на Тусю, при этом упорно обхо-

дила меня, стараясь не взглянуть даже ненароком своими маленькими, как бы утопленными глазами.

Я боялся чужой жалости, но не сумел избежать ее. Потому что и Валя и Туся — обе жалели меня и сюда, на дачу, взяли тоже из жалости. Ну и что с того? Разве я не пожалел однажды замерзавшего щенка? Или я не жалел тех бывших прославленных футболистов, игравших матч ветеранов?

Вспомнилось, как Валя смотрела на меня во время последнего моего матча на стадионе. Я поймал тогда ее взгляд, и, все время, пока я ходил, улыбался, пожимал чьи-то руки, говорил о чувствах, испытываемых мной, перед моими глазами стоял этот взгляд, в котором была и горечь, и боль, и обида только за меня одного, ни за кого другого...

Я свистнул Ауту, и он радостно выпрыгнул в машину. Самое большое удовольствие для Аута — ехать со мной в моей машине.

— Поедем, дружок, — сказал я ему. — Поглядим, как там дома...

За своими вещами я решил приехать как-нибудь в другой раз. Да и вещей у меня на даче было всего ничего, можно подождать до осени.

Однако все-таки надо было проститься с Тусей. Как-то неловко уезжать, не сказав ни слова. Правда, я понимал, что могу не устоять, едва лишь она начнет уговаривать остаться, а она непременно начнет, потому что жалеет меня.

Может быть, и в самом деле уехать, не говоря больше ни слова, а как-нибудь в Москве встретиться с Тусей как ни в чем не бывало и постараться объяснить ей, что так оно лучше и для нее с матерью, и для меня. И с Валею тоже надо будет поговорить, может быть, не стоит объяснять все как есть, просто сказать, что дел в Москве много. А поверит она или не поверит, это уже не моя забота...

Я вылез из машины, постоял, не зная, что предпринять. Аут сидел на моем сиденье, молча, настороженно глядел на меня своими чуть выпуклыми темно-кариыми глазами. Я через силу усмехнулся.

— Что, брат, хочется ехать, как я погляжу?

В ответ он гулко залаял. Не терпится уехать, до того любит кочевать, сил нет...

Потом он разом замолчал, глядя куда-то немного правее моей головы. Я обернулся. Сзади стояла Туся.

— Так что, — спросила ровным, почти бесстрастным голосом. — Значит, все? Уезжаешь? Да?

— Надо ехать, дочка, — сказал я. — Ничего не поделаешь.

— Что ж, поезжай, — по-прежнему бесстрастно проговорила она. — Раз задумал уехать, кто же тебя удержит?

— Ты же понимаешь, — начал я, не зная, что сказать дальше, и осекся мигот, потому что внезапно она зарыдала в голос, совсем так, как бывало в детстве, когда падала, споткнувшись, то ли от неожиданности, то ли от того, что больно.

— Туся, — сказал я. — Детка моя, что с тобой?

Подошел к ней, обнял ее острые, обтянутые ситцевым платьем плечи, а она, словно маленькая, уткнулась в мою щеку и всхлипывала так горестно, так жалко, что у меня защемило сердце. Я погладил ее по голове, негустые, гладко зачесанные ее волосы потеплели под моей рукой, она подняла на меня красные, распухшие глаза, всхлипывая, спросила:

— Значит, все? Уезжаешь?

Вот такая, вся зареванная, с красными от слез глазами, она показала мне вдруг очень красивой и взрослой, много старше своих лет.

— Пойми, дочка...— снова начал я.

Она перебила меня:

— Неужели ты сам ничего не понял? Так ничего и не понял?

Губы ее дрожали, но голос звучал твердо, даже вызывающе.

Я спросил:

— Что я должен был понять?

— Эх ты,— сказала Туся.— Какой же ты недогадливый, попросту тупой...

— Наверно,— покорно согласился я.— Тупой, это ты верно заметила, конечно, тупой...

Туся с силой обняла меня, потерлась влажной щекой о мою щеку.

— Неужели ты не понял, что она любит тебя? До сих пор любит!..

## ПОРА ЕХАТЬ

Нянька Кира Васильевна, все в больнице называли ее няня Кира, лежала в десятой палате. Это была сравнительно тихая палата, подальше от сестринского поста с беспрерывно звонившим телефоном, от телевизора, который начинал работать в холле уже с пяти часов, и койка была выбрана для няни Киры самая для нее удобная, возле окна.

За окном густо разрослись тополя, в ветвях неумолкаемый птичий щебет с раннего утра до вечера. Когда-то, тому уже много лет, няня Кира вместе с другими сестрами и санитарками сажала вокруг корпуса тополя и клены.

С той поры они уже разрослись вовсю.

На тумбочке, рядом с кроватью, стояла банка компота, сваренного для няни Киры старшей сестрой Клавдией Петровной, лежали апельсины и яблоки. А в холодильнике Клавдия Петровна поставила домашний творог из молока и кефира, брусок сливочного масла и двести граммов нежно-розовой, без единой жиринки ветчины. Сестра Алевтина Князева специально ездила за ветчиной на Арбат, в диетический, там обычно была такая вот ветчина, свежая, розовая и без жира.

Но душа няни Киры не принимала ничего. Она так и сказала Алевтине, то и дело забегавшей к ней в палату:

— Алечка, дочка, не принимает моя душа ничего съестного...

Заходила к ней старшая сестра Клавдия Петровна, пыталась соблазнить няню Киру:

— Хочешь, я тебе пирожок испеку с капустой? Или отбивную в сухариках зажарю? А то давай картофельный рулет с мясом завтра принесу, знаешь, такой, какой тебе всегда нравился, с поджаристой корочкой?

Няня Кира на все соблазны отвечала одинаково:

— Неохота, не хочу, не надо...

Руки ее, большие, широкие, с натруженными ладонями, раньше никогда не знали покоя, всегда были в работе — подметали, мыли, стирали, убирали посуду, подавали лекарства, приподнимали больных на кровати, вязали, шили, снова мыли, снова приносили и уносили еду, лекарства, воду...

А сейчас они были необычно спокойны, сложенные вместе поверх одеяла.

Лечащий врач Зоя Ярославна вошла в палату, и, как всегда, больные повернулись к ней, но она первым делом подошла к няне Кире. Няня Кира открыла глаза, глянула на Зою Ярославну, та тоже молча, пристально смотрела на нее.

Зоя Ярославна не выносила нарочито веселого, лихого тона иных врачей; подобного типа врач, входя в палату, уже заранее широко и радостно улыбался.

— Как дела? — спрашивал таким ликующим тоном, словно и не мыслил другого ответа, как: «Все отлично! Все очень хорошо!»

— Что, Зочка, — спросила няня Кира, — не успела прийти, и сразу ко мне?

Няня Кира ко всем, даже к директору института обращалась на «ты».

— Разумеется, — согласилась Зоя Ярославна. Вынула из кармана часы — любила носить их в кармане, а не на руке — раскрыла аппарат Рива — Рочи.

— Итак, начнем, что ли...

И немедленно устыдилась своего веселого тона.

У няни Киры оказались неожиданно голубые глаза, обычно она носила очки, теперь же, без очков, лицо казалось меньше и словно бы моложе, а глаза голубые, совершенно ясного, чистого невыгоревшего цвета. Зоя Ярославна с болью увидела, как истончилась, стала прозрачной кожа на висках, на лбу, возле рта, и руки — вечные работяги пожелтели, словно бы ссохлись.

Няня Кира ни о чем не спрашивала, не допытывалась, как другие больные, что это с нею, надолго ли, сколько придется пролежать, сумеют ли врачи вылечить ее.

Пожалуй, она вовсе и не тревожилась за себя, может быть, потому, что знала, инфаркт — дело серьезное, с ним шутить не приходится.



Сколько «инфарктников» приходилось ей обихаживать в прошлые годы! Приносить им лекарства, кормить с ложечки, подставлять утки и судно поддерживать, помогать делать первые шаги отвыкшими от ходьбы ногами и, главное, без усталости уговаривать: все пройдет, минует, словно злой сон, и опять возвратится здоровье, опять будет все хорошо...

Все отделение, все врачи и сестры стремились помочь ей хотя бы чем-нибудь. Каждый час, а то и каждые полчаса кто-нибудь входил в палату, не нужно ли няне Кире чего-либо, может быть, подставить судно? Дать попить? Покормить? Подать лекарство?

Алевтина Князева после дежурства даже отказалась идти домой.

— Хочу подежурить около няни Киры...

Однако няня Кира решительно прогнала ее домой.

— Да ты что, в своем уме? — спросила. — Столько народу я выходила, да чтобы на саму себя не хватило?

И сколько Алевтина ни просила ее, так и не уступила ей.

— Иди, иди, отдыхай, ночь не спала, тебе поспать надо, молодым долгий сон требуется...

Закрела глаза, притворяясь, что заснула. Алевтина постояла немного, потом тихо прикрыла за собой дверь палаты.

А няне Кире все вспоминался тот ранний, утренний час, когда она собиралась на работу и внезапно ощутила пронзительную, острую боль. Слово кто-то неведомый, невидимый взял и ударил прямехонько по сердцу чем-то колючим и жестким.

Она вздрогнула от боли, но не упала, выстояла, прислушиваясь к тому, что происходит внутри нее, боли от удара уже не было, сердце билось по-прежнему ровно, и она решила:

«Это мне почудилось...»

Казалось, все случилось давным-давно, а на самом деле всего лишь утром, несколько часов тому назад.

Жила няня Кира довольно далеко от института, в Замоскворечье, и пока добиралась, сначала метро, потом троллейбусом, чувствовала себя так, словно ничего не было. Потом и вовсе обо всем позабыла, на работе привычно впряглась в привычное свое дело, и все шло как полагается, как шло изо дня в день, но вдруг снова что-то сильно, резко ударило в сердце, как бы отыскав самую открытую боли точку. И еще, и еще раз.

Она упала прямо в коридоре, неподалеку от поста, уронив бутылку с микстурой Бурже — несла кому-то в палату, и уже ничего не видела, не чувствовала, не слышала, как закричала Алевтина, как бросилась к ней Клавдия Петровна и как ее перенесли в палату, положили на кровать.

Она очнулась немного позднее, возле кровати стоял завотделением Вершилов, рядом с ним Зоя Ярославна. Ей показалось, оба смотрели на нее озабоченно.

Она открыла глаза, услышала, Вершилов спросил ее:

— Ты что это, няня Кира? Перепугала всех до смерти. Как же это так?

Она хотела было ответить, что не надо бояться за нее, все у нее в порядке, сейчас она встанет и пойдет по своим делам, но у нее не было сил произнести хотя бы одно слово, и она снова закрыла глаза.

Как бы сквозь сон донесся до нее голос Зои Ярославны:

— Надо камфару немедленно...

«Далась ей эта камфара, — беззлобно подумала няня Кира. — Всегда первым делом — камфара...»

Она не додумала до конца, сон мгновенно обрушился на нее, и она провалилась в темную, глубокую пропасть.

Дня через два, однако, она почувствовала себя крепче. Зоя Ярославна обрадованно спросила:

— Няня Кира, хочешь, переведем тебя в отдельную палату? Как раз сегодня освобождился бокс.

— Вот еще, — воспротивилась няня Кира. — Что я буду в боксе делать? С тоски сдыхать? Нет, хочу с людьми вместе...

И Зоя Ярославна еще больше обрадовалась, узнав прежнюю, несговорчивую няню Киру.

Вечером няня Кира съела творог, приготовленный для нее Клавдией Петровной, выпила чаю и, повеселев, сказала:

— А ну, лечите меня поскорее, мне разлеживаться некогда, меня вон сколько народа ждет...

Все были счастливы, Зоя Ярославна сказала:

— Выдюжит, она хоть и старая, а крепкая...

И молоденькая, экспансивная Алевтина Князева не выдержала, расцеловала Зою Ярославну за эти ее слова.

Однако спустя еще два дня кардиограмма неожиданно показала резкое ухудшение. Зоя Ярославна, лечившая няню Киру, вначале усомнилась: возможно, ошибка?

Няня Кира вроде бы чувствовала себя получше, пободрее. Она решила проверить еще раз, повторная кардиограмма показала то же самое.

Уже после обеда няне Кире стало совсем плохо, опять боли в сердце, опять тошнота, слабость, испарина, которая словно бы исподтишка бросалась на нее.

Временами она впадала в беспамятство, потом, очнувшись, как бы в тумане видела перед собой Зою Ярославну, или Клавдию Петровну, или Алевтину.

Однажды ей почудилось, Алевтина плачет. Она хотела было протянуть руку, подозвать Алевтину, сказать:

— Да ты что, милая моя, зачем ты так? Я же вот она, сама видишь...

Но она не сказала ничего, потому что снова потеряла сознание, а когда опять очнулась, Алевтины уже не было, кругом слышался привычный шум и говор больных, кто-то сказал:

— Няня Кира, тебе укол сделали, глядишь, подействовал?

— А как же, — ответила няня Кира.

Было ей хорошо за семьдесят, и она выглядела на свои годы, высокая, грузная, но в то же время подвижная и быстрая, походка у нее была неожиданно для ее грузного тела легкая, на большом мясистом лице круглые очки в стальной оправе с сильными стеклами; на вид суровая, сердитая, на самом деле все, от врачей до сестер, знали — предоброе существо.

— Няня Кира — золотое сердце, — говорил Вершилов, а она ворчливо замечала в ответ:

— Ишь ты, золотое сердце во мне углядел. Как бы не ошибся часом...

Но он знал, что не ошибся. Сердце у няни Киры было и вправду золотое, что называется, чистейшей пробы.

Она никогда не раздражалась, ни разу не повысила голос ни на одного больного, каким бы занудным и надоедливым он ни был.

— И не то чтобы она была такая уж мягкая да добренькая, — говорила Зоя Ярославна. — Вот уж чего нет, того нет, просто она бесконечно терпелива и неподдельно страдает больным. Ну, а больные безошибочно чувствуют ее искреннюю отзывчивость. Больных, в сущности, нелегко обмануть...

И в самом деле, больные верили ей. И любили ее, и звали в тяжелые минуты. Даже брюзгливый, вечно всем недовольный Ямщиков и тот затихал, когда в палате появлялась няня Кира.

— Что, батюшка, — спрашивала, — опять зубы свои прокуренные кажешь? А чего, скажи на милость, кажешь, коли ни одного клыка, кажись, не осталось?

— Ну-ну, — миролюбиво отзывался Ямщиков. — Уж ты, няня Кира, известное дело, скажешь, как уколешь.

— И уколю, милый, почему и не уколоть? Ты ведь сам кого хочешь злым словом будто шашкой острой пронзишь и не оглянешься даже...

Так они иной раз пикировались, не уступая один другому, щеголяя друг перед другом острыми словами, однако, в достаточной мере незлобиво.

Старшая сестра Клавдия Петровна признавалась откровенно:

— Откуда у нашей няни Киры столько терпения? Мне кажется, святой Иоанн и тот бы не выдержал, посиди он с нашими больными хотя бы часок. А она целыми часами общается с ними — и никогда ни единой жалобы. Удивляюсь и даже преклоняюсь, если хотите...

За все тридцать девять лет своей работы няня Кира не пропустила ни одного дня.

Налетали порой грозные шквалы различных эпидемий, обычно они случались осенью или зимой, реже весной — вирусный грипп многообразных видов, врачи сваливались, и сестры повально болели. А няня Кира исправно являлась к восьми утра изо дня в день, подряд все годы.

— Я и больной-то отродясь не была,— хвасталась няня Кира.— У меня здоровья на два века отпущено, мне одной досталось.

Была она одинока, ни мужа, ни детей, брат далеко, на Сахалине, больная сестра в Пскове, два племянника и племянница.

Племянникам и племяннице няня Кира помогала, чем могла, даже иной раз деньгами, хотя получала меньше каждого из них; Зоя Ярославна, хорошо знавшая многие обстоятельства жизни няни Киры, не выдержав, говорила порой:

— Они тебя здорово охмуряют, а случись с тобой что, кто из них поможет?

— Ничего со мною не случится,— отвечала няня Кира.— И не больно-то я в них нуждаюсь, пусть они лучше во мне нуждаются.

Подобно всем очень здоровым, никогда не болевшим людям, няня Кира оказалась сразу, напавал сраженной внезапным своим недугом.

И жизнь со всеми ее звуками, запахами, радостями, заботами, постоянной работой, нескончаемой, повседневной суетой вдруг отошла, скрылась куда-то далеко-далеко, словно поезд, въехавший в длинный, темный тоннель и оставивший за собой лишь легкое облачко тающего дыма. Приходили к ней племянники, здоровые, кражистые мужики, хорошо одетые, холеные, приносили сок, мандарины, яблоки, ненужные ей, она к ним даже и не притрагивалась. Повторяли друг за дружкой:

— Ничего, нянька, оклемаешься. То ли бывало...

Спрашивали, как она, какая температура, не получше ли ей, украдкой поглядывали на часы, украдкой переглядывались и снова спрашивали все об одном и том же. Потом словно бы нехотя вставали, целовали ее напоследок и с видимым облегчением спешили поскорее покинуть эту юдоль скорби.

Как-то примчалась из Пскова племянница, она там жила с матерью, сестрой няни Киры, с мужем-военным и с двумя дочками, полная, валь-яжная, белокожая, чем-то неуловимо походившая на тетку, привезла малину, закатанную в банку, черную смородину-пятиминутку.

Пылко уговаривала:

— Нянька, съешь, ну хотя бы капельку, ну прошу тебя, ради меня, ради Светки и Аллочки...

Няня Кира ничего не отвечала ей.

— Слышишь меня, нянька? — продолжала допытываться племянница, а няне Кире было невыносимо трудно вымолвить хотя бы одно слово.

В полудремоте, в которой няня Кира теперь постоянно пребывала, ей вспоминалось прошлое, давным-давно миновавшее. Иногда виделась поляна, поросшая розовым клевером и хрупкими одуванчиками вперемежку с ромашкой и повилкой. Вот она, Кира, голенастая, простоволо-сая, бежит по этой поляне, пригибая по пути ромашки и клевер, бежит к дому, а дом неподалеку, на опушке леса.

Это — Алексин, маленький городок на Оке, там много лесов, все больше сосновых. Ока, растянувшаяся на многие версты, песчаные берега, поляны, поросшие кустарником и цветами...

Иногда казалось, она идет опушкой, к дому лесничего; возле дома ожидает ее Гриша, сын лесничего, они с ним сговорились поехать кататься на лодке. Она одета в вискозовое в голубую и розовую полоску платье, на ногах модельные туфли молочного цвета, крестный из Москвы жене привез, а ей оказались малы, и она отдала их Кире. Кира как бы со стороны видит себя — светлые волосы по плечам, платье туго стянуто на узкой талии, загорелые щеки в ярком румянце...

Кира чувствует себя красивой, желанной, она знает, что нравится Грише, и Гриша ей нравится, парень хоть куда. Только почему его не видать? Куда он делся? Сам же упраскивал — уговаривал вчерашний день, приходи, ждть буду...

А вот и Гриша, в лазоревой рубашке-косоворотке, по вороту васильки.

Это она, Кира, вышивала ему, он как-то признался, самая из всех любимая рубашка.

Он молча глядит на нее, и она не сводит с него глаз. Потом спрашивает:

— Пошли?

— Пошли, — отвечает Гриша. Они идут рядышком, рука к руке, но почему пасмурно, невесело Гришино лицо, почему избегает он встретиться с нею глазами?

Нет, она его ни за что ни о чем не спросит, пусть сам скажет, коли захочет.

Вот и пологий берег Оки, там, сбоку, стоит привязанная цепью к дереву Гришина лодка.

Последние лучи заходящего солнца золотят дрожащую постоянной, но почти невидимой рябью дорожку на середине реки от одного берега к другому, мошкар вьется неистово в каком-то дьявольском хороводе, пахнет полынью, свежескошенным сеном. Кругом, под ногами, куда ни глянь — подорожник, самая что ни на есть добрая трава. Ее следует хорошенько высушить и потом пить три раза в день, любую хворь как рукой снимет...

Кира долго глядит на солнце, пока глазам не становится больно.

— Говорят, надо поймать последнюю, самую последнюю минуту, когда солнце заходит, — говорит Кира. — Тогда увидишь зеленый луч.

— Ну и что с того, что увидишь? — спрашивает Гриша. — Зеленый или голубой, не все равно?

— Нет, не все равно, если двое в одно время увидят зеленый луч, это очень хорошо, — отвечает Кира, с досадой чувствуя, как румянец заливает ее щеки, лоб, шею, должно быть, сейчас она вся малиновая...

— Чем же хорошо? — вяло допытывается Гриша.

— Это — любовь, — говорит Кира, а сама глаз не сводит с розового, закатного неба, вдруг и в самом деле поймает в последнюю минуту счастливый зеленый луч?

И тут Гриша говорит:

— Ты меня прости, Кируня, только ничего у нас с тобой не получится...

Обрывает себя, может быть, ждет, что она спросит, почему не получится, но она молчит.

— Отец сказал, рано тебе жениться, и вообще, сказал, как время придет, я тебе сам невесту подберу...

И опять обрывает себя и опять, должно быть, ждет, чтобы она спросила: как так, почему? Но она не будет спрашивать. Она бежит, словно за нею кто гонится, бежит берегом Оки, и пылающее закатным, негаснущим огнем небо бежит вместе с нею, и, может быть, именно в этот самый последний миг проглянул на секунду счастливый зеленый луч, а ей так и не удалось его углядеть?..

Потом Кира долго лежит позади дома, уткнув лицо в ладони, и трава, выросшая в тени, никогда не знавшая солнца, холодит ее горячие щеки.

Конечно, все понятно, понятнее понятного: она — сирота, мать у нее больная, на руках два брата и сестра, она — самая старшая. А Гриша — единственный сын, отец лесничий, надо думать, подберет подходящую для него невесту.

Поздно вечером, когда все в доме спят, Кира стоит у калитки, глядит на небо.

Тихое, темно-синего цвета небо готовится принять ночь, светят, переливаясь фосфорическим голубоватым огнем, крупные августовские звезды, порой возле самых ног, в траве, просверкнет и скроется из глаз быстрый светлячок.

«Может, звезда упала? — думает Кира. — А вовсе не светлячок?»

В августе часто и щедро падают звезды. Говорят, падающую звезду увидеть к счастью, надо только успеть загадать желание, пока звезда не погасла.

Выходит, все к счастью, и последний зеленый луч, и падающая с неба на землю звезда?

Только самого счастья что-то не видеть. Да и есть ли оно где? Дождешься ли его когда-нибудь?

Долго стоит Кира возле калитки, вдалеке слышатся девичьи голоса, старательно выводящие: «Позарастили стежки-дорожки, где проходили милого ножки...»

Удивительно сочетаются нехитрые эти слова с тихим звездным небом, с теплым запахом согретой за день солнцем земли, с густой, чуть высохшей травой, небожно покалывающей босые ноги...

Кира повторяет негромко:

«Позарастали мохом-травой,  
Где мы гуляли, милый, с тобою...»

Так они больше с Гришей и не виделись. Вскоре умерла мать, овдовевший к тому времени крестный взял их всех в Москву, устроил на работу.

Из года в год Кира решала:

— В отпуск непременно поеду в Алексин...

Иногда ей снились баржи, проплывавшие по Оке мимо гористых песчаных берегов, мимо деревьев, опустивших длинные ветви, словно руки, в воду, поросшую возле берега пятнистой, лягушачье-зеленой ряской, казалось, до нее доносится запах земляники, вобравшей в себя солнечное густое тепло, и она понимала во сне, это сон, ничто другое, но не хотелось просыпаться, хотелось еще и еще продлить сон, слезы закипали в ее глазах и не высыхали, когда она наконец вставала.

Она собиралась в Алексин все эти годы, хотя родных там уже не осталось и дом, в котором родилась и выросла, она знала, стоял пустой с заколоченными, слепыми окнами, и все равно хотелось поехать туда хотя бы ненадолго, хотя бы на неделю, даже всего лишь дня на три...

И все, как нарочно, было недосуг: то племянницу замуж выдавали и няне Кире следовало непременно быть на свадьбе, то племянника провожали в армию, а какие же это проводы без нее? Потом другой племянник готовился поступать в институт, куда тут уедешь в самую, что называется, горячую пору? То работы в отделении неупрощения, и она решала:

— Возьму-ка отпуск как-нибудь в другой раз, без меня, должно, никак не обойдется...

И так все годы подряд.

Теперь няня Кира лежала неподвижно в десятой палате и мысли ее текли медленно, неторопливо, подобно водам Оки ясным и тихим летним утром.

«Как же я так не собралась туда? — мысленно дивилась она. — Почему? Неужели трудно было собраться? Разве долго ехать до Алексина? Поездом до Тулы, потом местным поездом или автобусом, а то и пешком тоже не дальний край...»

И ей представлялось, как она идет по большаку, от Тулы до Алексина, босые ноги утопают в дорожной пыли, пыль, ласковая, теплая, греет ноги, будто печка-лежанка зимой, идти легко, с каждым шагом родной город все ближе и ближе...

Она лежала очень тихо, не шевелясь, а неяркий, хмурый свет зимнего, недолгого дня падал на ее лицо, ставшее неожиданно маленьким, на синеватые, слегка дрожавшие веки.

Было невероятно, мучительно тяжело не только поднять руку, шевельнуть ногой, но просто повернуть голову, открыть глаза.

Ее тело внезапно показалось ей чужим, словно бы не принадлежавшим ей. Уже ничего не болело, ничего не досаждало, просто из ее тела, еще недавно полной бодрой, деятельной силы, медленно, неотвратно, капля за каплей уходила жизнь.

Когда-то она любила говорить:

— Всею свое время, всею свой час, так уж положено на земле...

Но она никогда не пыталась вдуматься, применить к себе эти грубые и точные в своей необратимой, благодатной правде слова. Она любила жизнь. И долгие годы, что довелось ей прожить на свете, казались недостаточными.

Нет, ей надо было долго, долго жить и многое еще сделать: понять детей своих племянников, съездить непременно в Алексин, навестить давно тяжело болевшую сестру, которая жила у дочери в Пскове, ну и, само собой, продолжать работать в отделении, где она на все палаты одна, где всем она нужная, как же они все без нее?

Она любила одинаково и лето, и зиму, и весеннюю слякоть, и осеннюю изморось. Она почитала себя очень здоровой и никогда ни разу не помышляла о смерти. Даже как-то не верилось, что она может умереть.

Странное дело: ведь она работала, как говорится, бок о бок со смертью, случалось, больные, много моложе ее, умирали, другие больные долго, мучительно болели, но представить себя больной она не могла. И не верила, что умрет когда-нибудь. Даже утверждала иной раз то ли в шутку, то ли всерьез:

— Мне умирать несподручно, некого оставлять в отделении, ни одной нянечки, кроме меня...

А теперь она ничего не хотела. Лежала, закрыв глаза, и жизнь уходила безостановочно, неумолимо, словно кровь из открытой раны, из ее тела, из ее души...

Теперь уже она не ощущала ни горечи, ни обиды, ни боли душевной. Стало быть, так положено, так оно и должно быть, так повелось: когда-нибудь наступает предел всему живому.

Изредка, открывая глаза, она видела серое зимнее небо в окне, красноватую крышу соседнего дома, зябких голубей на крыше. Один голубок как бы почувствовал ее взгляд, перелетел с крыши на подоконник, легонько постучал клювиком в стекло.

— Ах ты, милый, — мысленно проговорила няня Кира, но тут же снова потеряла сознание и снова очнулась и увидела как бы в тумане глаза Зои Ярославны, Зоя Ярославна что-то говорила ей, она не различала слов и сказала:



— Ты бы погромче, Зочка...

Ей казалось, ее голос звучит обычно сильно и громко, но на самом деле губы ее едва шевельнулись.

Зоя Ярославна низко наклонилась над ней.

— Что, няня Кира,— спросила она,— что ты говоришь? Повтори...

Она долго ждала, что скажет няня Кира, но ничего не могла услышать. Погладила ее по щеке, по волосам, слегка растрепавшимся, натянула повыше одеяло. Няня Кира снова сказала что-то, Зоя Ярославна приблизила свое лицо к ее губам и услышала:

— Поеду, Зочка, пора...

— Куда? — спросила Зоя Ярославна и взяла в обе свои теплые сильные ладони руку няни Киры.

— В Алексин,— прошелестела няня Кира.— Пора ехать...

## СОДЕРЖАНИЕ

Артистка . . . . .	3
Одинокий с собакой снимет комнату . . . . .	13
Пора ехать . . . . .	37

УВАРОВА Людмила Захаровна

### ОДИНОКИЙ С СОБАКОЙ СНИМЕТ КОМНАТУ

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

---

Сдано в набор 2.02.90. Подписано к печати 15.03.90. Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,26. Тираж 150 000 экз. Зак. № 1876. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



● **ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!**

Одинокие мужчины и усталые  
женщины!

Специально для Вас!

Фабрики срочной химчистки  
и стирки белья стирают мужские  
сорочки за 24 часа!

**«Бытреклама»**